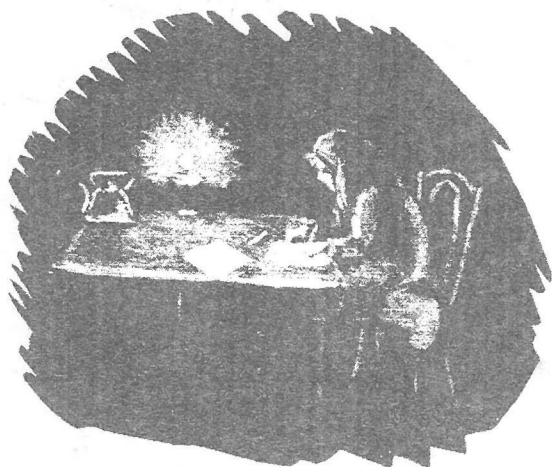


Ольга Растворова

ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ

(Один год из жизни ленинградской девочки)



Санкт-Петербург, Сестрорецк

2005

Регинас
Бидишотакс или
Зачеко - с
исправно

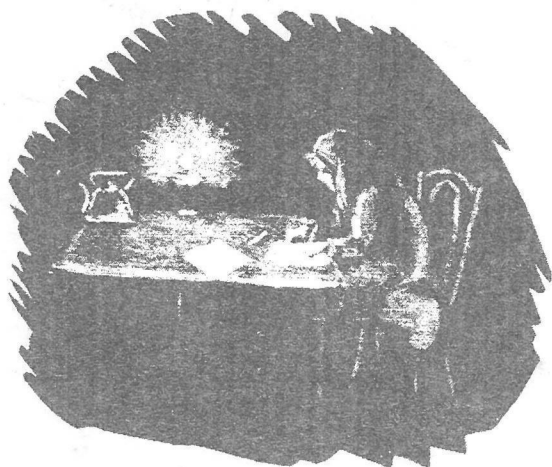
1.01.2006

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ivanov' or similar, written in a cursive style.

Ольга Растворова

ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ

(Один год из жизни ленинградской девочки)



Санкт-Петербург, Сестрорецк

2005

О.Г. Растворова. ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ. (Один год из жизни ленинградской девочки).

Воспоминания о первом годе блокады Ленинграда, иллюстрированные подлинными детскими рисунками автора, выполненными в 1941-1942 гг. О.Г. Растворова – известный сестрорецкий краевед (автор книги о Сестрорецких «Дубках»), поэт, художник. По основной профессии – ученый-почвовед, доцент, кандидат биологических наук, имеет более 100 научных публикаций. В Сестрорецке живет с 1985 г.

© О.Г. Растворова. Текст, обложка, рисунки. 2005.

© Я.Р. Храмцова. Главный редактор. 2005

© Оригинал-макет. 2005

© Научно-методический центр Курортного района - издание. 2005.

Оказалось, что всё это я помню

(вместо предисловия)

Однажды мне как жительнице блокадного Ленинграда предложили выступить перед школьниками со своими воспоминаниями. Я засомневалась: кому могут быть интересны воспоминания девочки, которой в начале войны исполнилось восемь, а через год она уже оказалась на Большой земле? На всякий случай стала приводить в порядок всё, что хранилось в памяти и в семейном архиве: документы, фотографии родных, свои детские стихи и рисунки, довоенные и блокадные, по-новому присмотрелась к сохранившимся предметам быта, пережившим с нами ту зиму. И вдруг что-то произошло с моей памятью, воспоминания хлынули лавиной. Словно поставили в теплую воду голую зимнюю ветку, и почки стали раскрываться, и из каждой, прямо на глазах, начали расти побеги, разворачивая все новые и новые листья.

Оказывается, память неисчерпаема, и нужен был лишь внешний толчок, чтобы кусочки мозаики, хранившиеся в ней разбросанными, как попало, сложились в целостную картину того, как жила обыкновенная семья в обыкновенных для блокады обстоятельствах в течение одного года. Сама по себе эта картина и та детальность, с которой она написалась, значимы, наверно, только для меня и немногих близких; она – не героическое полотно, а так, маленькая жанровая сценка. Но ведь Великая Победа складывалась из всего – и из подвигов, и из будничных поступков, и просто из терпения. И может быть, на весах войны даже та малость, что ребенок не огорчил, а обрадовал свою измученную мать, тоже что-то значила. Поэтому я решила верить бумаге и предъявить читателю всё, что помню о первом годе блокады. Надеюсь, что в этих воспоминаниях нашлось место и каким-то новым подробностям нашего общего блокадного быта, не отмеченным другими.

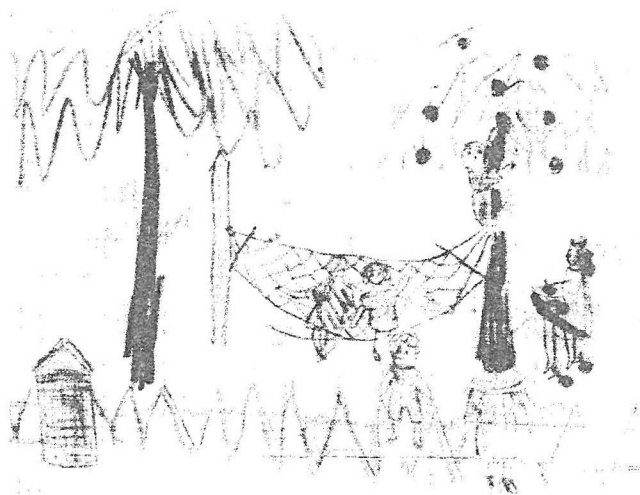
Я ничего не сочинила. Если не была уверена в дате или других подробностях какого-либо происшествия, то так и написала: «кажется», «возможно». Факты старалась передать именно так, как восприняла их тогда восьмилетней девочкой. Это не помешало мне сопроводить их оценками и комментариями сегодняшнего человека на восьмом десятке лет.

В этой истории ничего не выдуманно

Это подлинная история о том, как обыкновенная девочка из обыкновенной ленинградской семьи прожила первый год войны. Это история с хорошим концом: главные персонажи сумели перенести тяготы первой блокадной зимы, благополучно пересекли штормовую, простреливаемую врагом Ладогу. Это история о том, как судьба или Бог не раз спасали эту семью от смерти. И о том, как семья сама не давала себе погибнуть и спасала себя взаимной любовью и заботой, разумной предусмотрительностью и оптимизмом, честным трудом и профессиональными знаниями. Этой семье повезло, но возможно, что везение было в какой-то мере заслуженным.

Дача в Тайцах

В июне 1941 года мне было неполных восемь лет. Наша семья сняла тогда дачу под Гатчиной, в старинном финском селе Тайцы. Кроме нас – папы, мамы и меня, у тех же хозяев поселились: семья маминого брата (дядя Шурик, тетя Тамара и трехлетняя Элла) и бабушка с моей девятилетней двоюродной сестрой Мирой. Главным достоинством этих мест было то, что по гатчинской ветке железной дороги довольно быстро и часто ходили электрички, так что работающие члены семей могли быть с детьми на природе не только месяц отпуска, а всё лето, и ездить если не каждый день, то хотя бы на выходной. Готовились все в тот год к отдыху на редкость основательно: запаслись керосином (у одной только нашей семьи было около 30 литров), всякими крупами и прочей бакалеей, чтобы потом не возить из города и не зависеть от местной лавки. Да и всякого домашнего скарба позволили себе взять куда больше, чем раньше, взяли даже многие мои игрушки, об утрате которых я потом жалела почти так же, как об оставленном керосиново-крупяном сокровище. Вещей брали много потому, что не на горбу надо было везти, а – впервые – на машине, на грузовике! Помню, что мы с папой и с котенком в картонке именно на грузовике и ехали, в кузове поверх горы вещей, это было замечательно!



Так мы надеялись провести лето 41-го

Котенка потом, когда нам пришлось спешно уехать, оставили у дачных хозяев, и об этом я тоже очень жалела: он был такой игривый и ласковый, в шелковой-шелковой дымчатой шубке. Но я утешала себя тем, что всё-таки там, в деревне у него оставался шанс выжить, в блокадном же городе он в лучшем случае умер бы от голода, а в худшем...

В Тайцах мне не очень нравилось. Там не было ни озера, ни речки, лес был недалеко, но мрачный, еловый. Было, правда, много открытого пространства и довольно живописных глубоких карьеров, из которых недавно брали известняк, края обрывов заросли деревьями серой ольхи с меня ростом (я уже тогда знала от мамы-лесовода, что ольха называется Альнус инкана). Все листики в то лето были густо усажены красивыми изумрудными жучками-листоедами. Погода стояла неплохая, мы много гуляли, по вечерам выходили смотреть на возвращающееся стадо (если первой идет рыжая корова, завтра будет ведро) и на закат: поселок стоял на холме, с которого открывался широкий простор на западе. Я радовалась возможности постоянно быть рядом с сестрой Мирой, с которой в городе мы виделись нечасто. В тот год мы независимо друг от друга получили по большой, с новорожденного младенца, целлулоидной кукле-голышу, обе куклы были с желтой кожей и веселыми раскосыми глазами, папа сказал, что

они киргизы. Ну, киргизы, так киргизы, ничего удивительного, СССР – братская семья народов. К разноцветным человечкам мне было не привыкать: самой ранней моей игрушкой был негр Джим – самодельная (потому что готовых игрушек в начале 30-х почти не было) матерчатая кукла, великолепно сделанная маминной сестрой Симой (о ней речь будет дальше). Голыша Миры звали Галей, а я своего почему-то назвала Мери. Мы очень любили этих кукол, гордились ими и считали очень красивыми. Живя вместе на даче, мы с сестрой играли, фантазировали, читали друг другу вслух. Мира уже закончила 1-й класс, а я еще не ходила в школу (тогда начинали учиться с восьми лет), но читала уже свободно (с четырех лет). Меня уже записали в первый класс школы № 94, которая помещалась в красивом здании со стеклянным куполом на Ломанском переулке (теперь – переулок Комиссара Смирнова). Забегая вперед, скажу, что в ту осень я в школу так и не пошла, только через год, уже в деревне, пошла сразу во второй класс. А в 94-ю школу попала только в 1945-м, в пятый класс.

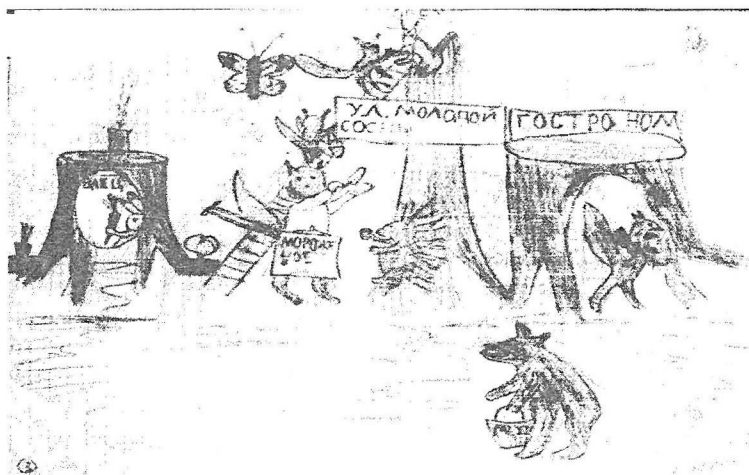


Прогулка в лесу с папой

В то печально известное воскресенье 22 июня мы сидели все вместе за завтраком. С улицы в окошко постучал сосед Сергей Львович и сказал, что началась война. Взрослые сразу стали очень серьезными.

Какое-то время мы еще продолжали оставаться на даче. Помню, что мы с сестрой пытались выслеживать там «шпионов и диверсантов», о которых в те дни много говорили. Под нашими окнами

был колодец, и мы были убеждены, что заглянувшие в него мужчина и женщина – шпионы и отравители воды, но взрослые нам почему-то не поверили.



Лесная фантазия

Возвращение в город. Пути и судьбы родных

Уходили мы с папой и мамой из Тайц как-то уж очень налегке, а может, это у меня ничего в руках не было, а родители несли что-то. На станцию шли почему-то не обычным путем мимо карьеров, а каким-то длинным, через бесконечные поля, навстречу низкому вечернему солнцу. Возможно, мы вышли на какую-то другую ветку. Дядя Шурик с семьей уехал еще раньше нас. Наверно, он же увез в город и бабушку с Мирой, да и что-то из наших вещей. Больше мы в Тайцы не приезжали.

Дядя Шурик был в то время довольно крупным инженером, кажется, главным, на заводе имени Кулакова, где делали, в частности, телефонные аппараты. Он отправил тетю Тамару с Эллочкой вместе с заводом в Свердловск, где тетя стала работать на том же заводе. Весной у нее родилась моя сестренка – «Галочка-уралочка». Сам дядя сразу же ушел добровольцем на фронт (Ленинградский), но зимой 41/42 г. был отозван для работы на заводе, который стал выпускать продукцию для фронта.

Еще раньше ушел добровольцем другой мамин брат, дядя Боря. В первом же бою он был тяжело ранен, переболел столбняком, лежал в госпитале в Перми (тогда г. Молотов), где за ранеными ухаживали артистки эвакуированного туда же ленинградского Кировского театра. Немного поправившись, он остался там работать на одном из заводов. В Ленинград, на свой оптико-механический завод (ГОМЗ, впоследствии – объединение ЛОМО) дядя Боря вернулся в 1944 г.

Бабушка с Мирой вернулись из Тайц в свой деревянный дом в Лесном, на Прибытковской улице (рядом с нынешней станцией метро «Площадь Мужества»). Там жили тогда еще три маминих сестры: тетя Лёля – мать Миры и четырехлетнего Эдика, тетя Надя с детьми Ирой (6 лет) и Колей (7 лет) и незамужняя тетя Вера. Оттуда же ушел на фронт дядя Боря. Потом, весной 42-го, этот дом в тогдашнем пригороде с его вольной травкой станет для нас спасением; еще позже, когда никого из жильцов не останется, его разберут на дрова. Надолго сохранится только дуб, посаженный дедом в честь рождения одного из сыновей.

Бабушка, Лёля с детьми и Надя с детьми уедут из Ленинграда летом 1942-го. Все они уцелеют, кроме бабушки. Она совсем не была старенькой, ей было около 65 лет, до войны она не болела, была бодрa и исключительно деятельна. Но она так и не сумела оправиться от последствий голода и неправильного кормления дистрофиков в пути, когда изголодавшимся людям, жалея их, сразу давали много тяжелой пищи.

Тетя Вера останется в Ленинграде до конца блокады, выйдет замуж за давно любимого ею человека, который к тому времени овдовеет. А его дочь Ляля станет в 1945 г. женой дяди Бори. Так что их сыновья Юра и Саша, родившиеся в 1946 и 1947 г., будут для меня одновременно и двоюродными братьями (по дяде Боре), и как бы племянниками (по тете Вере: ведь ее муж станет мне дядей, дядей Палей, а его дочь Ляля – соответственно двоюродной сестрой). Лялю и дядю Палю я узнаю только в 1945 г., они будут жить вместе с нами в нашей квартире, там же родятся Юра и Саша. Я, уже пятиклассница, буду потом ходить гулять вместе с Лялей, везущей Юру в высокой колясочке (теперь таких не увидишь), пешком по набережным, через Литейный мост в Летний сад. А еще я буду рассматривать в её комнате (раньше это была комната тети Симы) ее сокровища довоенной школьницы – многочисленные альбомы с фотографиями артистов, журнальными вырезками с изображениями сцен из театральных

постановок. Ведь Ляля перед войной только закончила десятый класс. Всю войну она была дружинницей и жила на казарменном положении.

Наши первые недели войны

Ну, а теперь о нашей семье. В первую неделю войны мы вернулись из Тайц в город, на Выборгскую сторону, в свой большой 6-этажный дом на проспекте Карла Маркса. Дом этот выдержал все бомбежки и обстрелы и устоял. Позже, в 1980-х гг., в связи со строительством гостиницы «Ленинград» его расселят (а нам дадут новую квартиру в прекрасном месте – в городе Сестрорецке), а потом, в 1993 или 1994 г., дом снесут. Тогда гостиница уже будет называться «Санкт-Петербург», а проспект снова станет Сампсониевским.

Папе в 1941 г. исполнилось 53 года, он был инвалидом, но работал – преподавал предмет под названием ПВХО (противовоздушная и противохимическая оборона) на кафедре военных наук Педиатрического института. С началом войны работы ему прибавилось, потому что приходилось читать публичные лекции для населения, а также преподавать на курсах усовершенствования медицинского состава (КУМС). Вообще-то основной специальностью папы было, как и у мамы, лесное дело; они с мамой и познакомились-то в лесоустроительных экспедициях. Но еще раньше, во время Первой мировой войны, ему, выпускнику Лесного института, пришлось окончить школу прапорщиков, потом он воевал в Гражданскую (шутя, он говорил о себе: «Я участвовал в четырнадцати сражениях и ни разу не был ни ранен, ни убит») и числился в командирском составе. Как и все командиры запаса, он не раз проходил переподготовку на очередных сборах и овладел второй, военной специальностью. Когда папа в 45 лет стал инвалидом (в связи с заболеванием сосудов) и не мог ездить в свои лесные экспедиции, эта вторая специальность очень пригодилась, потому что позволяла вести преподавательскую работу, не требовавшую поездок.

Маме в 41-м было 43 года. Её проектный институт («Гипролестранс») с началом войны по существу свернул свою работу, а маму в связи с сокращением штатов уволили (что означало получение в дальнейшем «иждивенческой», самой голодной продуктовой карточки, но пока это никого не пугало).

Возможностей эвакуироваться с предприятием у нас соответственно тоже не было. Какое-то время предполагалось, что тетя Лёля эвакуируется вместе со своим заводом (всё с тем же ГОМЗом) и возьмет с собой не только своих детей Миру и Эдика, но и меня. Шли приготовления к нашему отъезду. На большом диване в нашей комнате

были постоянно разложены детские одежки, одеяла, белье, на которых нужно было нитками вышить имя и фамилию. (До сих пор сохранилось одно из одеял, на котором видны следы вышитых красными нитками слов: «Оля Растворова»). Мы с Мирой на том же диване по очереди читали вслух «Принца и Нищего». На столе постоянно лежала большая карта СССР. Папа с соседом всматривались в нее, пытаясь разгадать содержание сводок Информбюро («наши войска оставили город С ..., оставили город К ..., город Н ...»). А я, подолгу рассматривая карту, незаметно выучила все крупные реки, города и прочие географические подробности своей страны.

Вместе с нашей семьей, т. е. с папой, мамой и мной, жили еще две женщины: мамина сестра тетя Сима и наша домработница Оля Сипагина, «Оля большая» в отличие от меня – «Оли маленькой».



*Оля «большая» и Оля «маленькая». 1941 г.
(Еще были дрова! На столе справа – не телевизор,
а наш медный поднос).*

Когда я вспоминаю Олю Большую, то первой просыпается осязательная память: мне лет пять, мы переходим улицу, я держусь за Олину руку и при этом трогаю пальцами твердый выпуклый шрам на ее ладони. Это было у нас вроде привычной ласки. В первые недели войны Оля ушла от нас и поступила работать на завод (кажется, завод имени Карла Маркса). Прощаясь, она напомнила, как я когда-то мало и неохотно ела, и сказала: «А вот теперь найдешь на полу черствую

корочку – будешь радоваться». Я не поверила, фыркнула. Оля была первая, от кого я еще в июле услышала про грядущий голод. Зимой, встретив маму на улице, Оля сказала: «Ой, плохо живу, Зинаида Николаевна, аж ноги нахрест». Это выражение у нас потом привилось. После войны мы изредка встречались с Олей. Она пришла к нам в 1978 г., узнав о маминой смертельной болезни, и помогала мне.

В первые недели войны к соседям по коммунальной квартире, тоже лесоводам, но не из маминого института, часто приходили деловитые люди с какими-то бумагами, о чем-то совещались. Сосед был начальником лесоустроительной партии, и вскоре они с женой уехали, – то ли эвакуировались, то ли отправились завершать свои экспедиционные дела (через год, летом 1942-го, они дали о себе знать, и их помощь оказалась для нас очень существенной). Их сын – летчик пропал без вести (погиб, конечно) в первые же дни войны в Карелии, на финской границе, невестка с новорожденной (недельной) дочкой сумела выехать из гарнизона и спастись.

Из затей с нашим отъездом вместе с тетей Лёлей ничего не вышло. Сестру Миру вместе с ее одежками-одеялами увезли обратно в Лесной. А мои родители придумали новый вариант: мы с мамой едем в Тихвин! В Тихвине они с папой когда-то занимались лесоустройством, места там вроде знакомые, да и люди знакомые как будто остались. К тому же, как рассудили мои стратеги, Тихвин восточнее Ленинграда. Если Ленинград «возьмут», то Тихвин, может быть, «не возьмут», а если и Ленинград «не возьмут», то уж Тихвин – и подавно «не возьмут». (Как известно, всё оказалось наоборот). Мы с мамой собрали кое-какие летние вещички и, кажется, в середине августа на поезде благополучно добрались до Тихвина, где и остановились, как мама говорила, «у полужнакомых в полукомнате». Перспектив на работу и лучшее устройство не было никаких. Мы бродили без цели по немощёным улочкам, вдоль тихой речки Тихвинки, мимо лесопилки, сквозь проломы в стенах монастыря, недавно, уже в 21 веке, вновь ставшего домом знаменитой иконы, а тогда запущенного, но все же величественного.

Счастливым случай или Божья воля вовремя вернули нас в Ленинград. Вышло это так. Мама по вечерам звонила домой, папе (тогда еще домашние телефоны работали). Папа отчитывался, что он ел и т. п. Однажды он сказал: «У нас тревоги» (имея в виду воздушные тревоги). Мама сказала: «У нас тоже». Папе послышалось «У нас хуже», и он подумал, что она не может сказать открытым текстом, чем именно хуже, наверно, это бомбежки. «Так чего же вы там сидите?» – закричал папа. И правда, чего? Мама недолго собиралась, и мы уехали

в Ленинград, как потом выяснилось, последним поездом, увозившим детей из пионерлагерей. Мама упросила проводницу, и та поместила нас в свое купе, а я, маленькая нахалка, разлегшись на ее нижней полке, всю ночь во сне пихала эту добрую женщину ногами.

Конечно, не вернись мы в Ленинград, судьба нашей семьи сложилась бы трагично. Папа один, безусловно, не выжил бы. Он уже и тогда недоедал, хотя пока еще вполне мог бы питаться нормально. Но он так уставал, что ему было «не до быта», он не успевал выкупать ежедневную порцию по уже введенным карточкам и питался теми продуктами, которые случайно сохранились в доме от мирных времен. Наша с мамой участь в Тихвине тоже была бы печальной, в лучшем случае она повторила бы судьбу приютившей нас там женщины: она вместе с сыном и с саночками пешком ушла от немцев. Но у нас было гораздо меньше шансов: сын той женщины был крепким подростком, сама она была куда моложе и здоровее мамы, и к тому же была местная жительница, а мы, как говорила мама, были «обе беженки, обе неженки», у нас даже теплой одежды с собой не было.

Город в начале войны

Итак, мы вернулись из своей неудачной «самодельной» эвакуации, мама стала пытаться наладить быт (а еще её сделали начальником штаба местной противовоздушной обороны – МПВО при нашей жилконторе, но об этом надо отдельно). Мы с мамой стали бегать по коммерческим магазинам (их недавно открыли), где еще можно было купить кое-какие продукты без карточек, но дорого. Нужно было выстаивать огромные очереди. Мама ставила меня в одну, сама уходила в другую, и если она не успевала вернуться, я не умела удержать очередь; мама сердилась, я плакала. Я не понимала, зачем всё это нужно, но мама имела кое-какой опыт голодания: она жила в Петрограде во времена Гражданской войны и разрухи и твердо усвоила, что нельзя выжить, не создав хотя бы минимального запаса продуктов. И в 41-м те, кто не сумели ничего закупить, а питались только по карточкам, погибали в первую очередь. Запомнился один из последних наших походов, почему-то в магазин на площади Льва Толстого. Обрато к себе на Выборгскую сторону шли пешком мимо Ботанического сада с добычей – в широком неаккуратном кульке топорщились серые ломаные макароны, килограмма полтора.

По карточкам же продуктов давали всё меньше, но мы пока еще не голодали. Иногда выдавали экзотические продукты. На «масляные» карточки мы дважды получали кокосовое масло, белое и твердое. В первый раз оно было на вкус ничего, а во второй – совсем

как стеариновая свечка. Иногда мы досадовали на себя: зачем поторопились тогда выехать в эти Тайцы? Задержались бы – и все наши закупленные для дачи припасы остались бы дома! Потом мы сожалели о них все чаще и горше.

Еще помню, как вместе с папой я ходила на какой-то специальный пункт, куда население обязано было сдавать радиоприемники и другие предметы, которые, как нам объяснили, могли быть нужны фронту. У нас был ламповый приемник – громоздкий набор предметов, последовательно соединенных проводами. Они стояли в ряд вдоль стены на большом письменном столе, протянувшись по всей его длине, я про себя называла эту цепочку «поезд». Мы сдали этот приемник и большой полевой бинокль. Приемника мне не было жалко, уж очень он был некрасивый и громко выл, когда папа пытался что-нибудь «поймать». Бинокля было жалко, я любила наши с папой прогулки с этой волшебной штукой. Нам выдали квитанции с обещанием возратить всё это после войны. Про обещание мы забыли и квитанций не сохранили

Приметой начального периода войны в Ленинграде стало обилие аэростатов заграждения. Это были продолговатые серые баллоны величиной с трамвайный вагон с подобием рыбьего хвоста на одном из концов, заполненные каким-то газом легче воздуха. К вечеру их на тросах выпускали пастись в небо, и они лениво висели там до утра, создавая, как считалось, помехи вражеским самолетам. Уже будучи взрослой, я писала в своем стихотворении: «Аэростаты в небо Ленинграда – для самолетов вражеских преграда – взмывали в сумерках, как странной рыбы стадо». Летом над центром города их было много, потом постепенно они исчезли.

С первых дней войны была введена обязательная светомаскировка (так называемое затемнение), чтобы огни ночного города не были ориентирами для вражеских самолетов. С наступлением темноты ни один лучик света не должен был быть виден из окон, их надо было завешивать светонепроницаемыми шторами. Фары машин были либо с синими стеклами, либо закрывались щитками с узкой горизонтальной щелью, над которой имелся специальный козырек. Сначала, пока ночи были светлыми, эти меры носили номинальный характер, но в августе ночи стали темнее, и начали ощущаться неудобства. Сейчас, при обилии уличного освещения и световой рекламы, трудно представить себе совсем темный город. Голько мечущиеся в небе лучи прожекторов и кое-где – отсветы пожаров. У многих жителей на одежде появились специальные светящиеся брошки и значки, которые позволяли не

наталкиваться друг на друга в темноте. Не знаю, выдавали их или продавали как сувениры. Папа принес откуда-то всем по значку, сперва мы их носили, потом они потерялись.

Во многих домах, в том числе и в нашем, выходявшем сразу на три улицы: проспект Карла Маркса, Саратовскую и Клиническую, окна первого этажа были заложены либо мешками с песком, либо кирпичами. В кирпичной кладке было оставлено по одному отверстию – амбразуре. Узкую Саратовскую улицу перегородили двумя какими-то громоздкими железными конструкциями в форме усеченных конусов, оставив между ними просвет только для пешеходов, а машина проехать не смогла бы. Эти «бочки» простояли, кажется, чуть ли не до 1950 г.

С первых дней войны все носили с собой противогазы в матерчатых сумках на лямке, это было обязательно. У меня был свой, детский, его мне купили еще за год до войны, для этого ездили в специальный магазин в Апраксином дворе. Так тогда полагалось. В сумке был особый кармашек, куда клали желтый деревянный патрончик со специальным восковым карандашом, которым изнутри натирали стекла очков противогаза, чтобы они не запотевали. На некоторых противогазах между «глазами» торчал длинный острый выступ – «нос». Этот нос можно было вдавить пальцем внутрь противогазной маски и, шевеля там пальцем, протереть стекла.



Женщины в противогазах. 1941 г.

На моем противогазе носа не было, и я считала это ущемлением прав детей. В противогазные сумки обычно клали еще маленькую аптечку – бинт, индивидуальный перевязочный пакет и т. п. Ну, а иногда носили и посторонние предметы, но официально это считалось нарушением. Правда, вскоре, когда стало ясно, что химической войны, скорее всего, уже не будет, противогазные сумки постепенно стали использоваться просто как хозяйственные сумки.

У нас было две комнаты в коммунальной квартире. Одна побольше, солнечная, окнами на проспект Карла Маркса, прямо на спортзал и клуб Военно-медицинской академии. В этой комнате верхние, самые большие стекла оконных рам быстро вылетели от взрывов, несмотря на то, что все они были заклеены крест-накрест полосками бумаги – аккуратнейшим образом, с нахлестом на раму (а не кое-как на середине стекла, как в некоторых нынешних фильмах о той войне). Вместо разбитых стекол во фрамуги была вставлена фанера. Должно быть, это сделала жилконтора, потому что все окна по фасаду были забиты одинаково, а позже, к концу войны, даже одинаково выкрашены серым – в цвет стен дома. Еще нескоро после войны мы сумели вновь заменить фанеру стеклами.

На всех наших окнах висели плотные шторы из черной бумаги. На день их скручивали, наворачивая валиком на деревянный стержень; шторы сохранились еще с Финской войны, когда тоже было введено затемнение.

Вторая, маленькая комната была в другом конце недлинного коридора и выходила окном во двор-колодец. Даже летом она была полутемной. С началом войны мы заложили почти все пространство между рамами старыми ватными одеялами, подушками, оставив только полоску шириной сантиметров 20 – по ширине форточки. Комната стала совсем темной, но в морозы она меньше выстывала, а стекла сохранились, потому что во дворе «наружной» взрывной волне было не разгуляться, а прямого попадания, к счастью, не было.

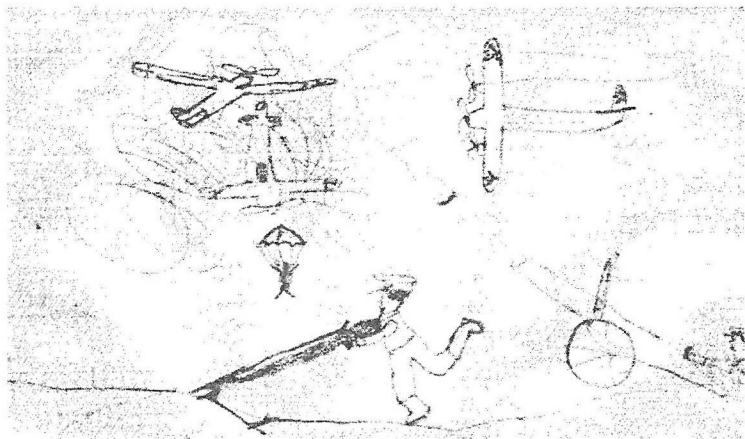
Во дворе выходило окно еще одной, совсем маленькой комнатки, где жила самая любимая мною из маминых сестер – тетя Сима, которую в раннем детстве я, не умея сказать Сима, называла Ти. Она была чертежница по профессии и художница от Бога, умела великолепно шить, вышивать, рисовать и делать из ничего прекрасное всё-что-угодно, особенно для детей. (Достаточно вспомнить моего тряпичного негра Джима. Он был стройный, с белозубой улыбкой, во фраке и цилиндре, в ловко сшитых кожаных туфлях). Так как своих детей у Симы не было, её в первые же дни войны отправили «на окопы» – на рытье противотанковых рвов не то под Лугу, не то под

Кингисепп. Ей, маленькой и хрупкой, хотя и сильной, посчастливилось почти пешком вернуться с этих прерванных немецким наступлением работ живой, невредимой и не утратившей чувства юмора.

Когда дядю Шурика в конце 41 г. отпустили с фронта, он выхлопотал для Сима документы на выезд по ледовой Дороге жизни в Свердловск, на помощь ожидающей ребенка тете Тамаре, и Сима выехала в самые морозы, в декабре 1941. Перед отъездом она сходила пешком в Лесной, к бабушке, т. е. к своей матери, и та её благословила на дорогу и на доброе дело. В Свердловск Сима добралась только в конце марта. Тетя Тамара, встречавшая ее на вокзале, попала в жестокую давку, и поэтому Галочка родилась на два месяца раньше срока, была очень слабенькой, но выжила. Сима в Свердловске не работала, сидела с малышкой, а еще устраивала сказочные праздники в детском садике, куда водили старшую девочку, Эллу; работала только Тамара

Но всё это было после, а пока что Сима жила с нами, ходила куда-то на свою работу, по вечерам сидела в нашей комнате и за разговором привычно что-нибудь рисовала на обрывках бумаги. Еще не наступили страшное 8 сентября и полная блокада. Еще горело электричество, работали телефон, водопровод, канализация. Но все чаще слышался по радио – и из черной тарелки домашнего репродуктора, и из рупоров уличных громкоговорителей отвратительный звук сирены. «Воздушная тревога! Воздушная тревога!» – объявлял суровый баритон, и сразу размеренное, спокойное тиканье метронома сменялось нервным, учащенным. К радиосигналу добавлялись заводские и паровозные гудки и вой ручной механической сирены. Все больше было известий о засыпанных под развалинами, о погибших и раненых, все чаще можно было видеть разрушенные бомбежкой дома, привычными стали звуки выстрелов, разрывов.

По сигналу воздушной тревоги полагалось команде дежурных подниматься на крышу (чтобы гасить или сбрасывать вниз зажигательные бомбы, «зажигалки»), а остальным спускаться в бомбоубежище. Хорошо оборудованное бомбоубежище (оно же – и газоубежище; предусматривались герметичность и какие-то фильтры в вентиляционной системе) было в подвале соседнего дома. Там было довольно просторно, светло, много скамеек, были бачки с питьевой водой, были даже настольные игры и шашки (там я научилась играть и даже побеждала ребят постарше).

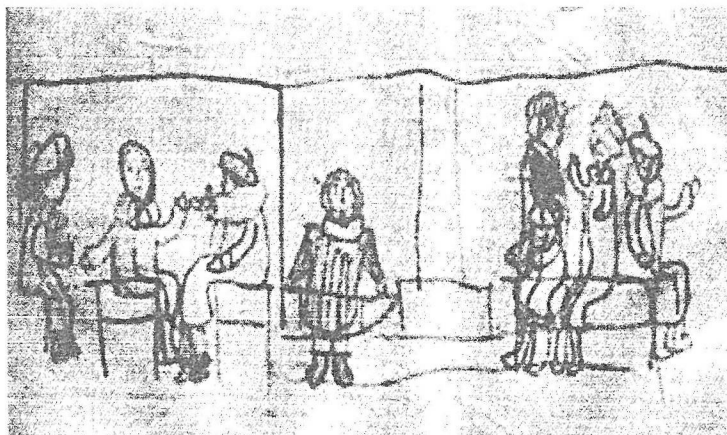


*Бой на земле и в воздухе.
Лето 1941 г.*

Люди, идя в бомбоубежище, захватывали с собой документы и наиболее ценные вещи. Сумка с этими вещами должна была стоять наготове на видном месте. Чтобы не нести много, старались побольше надеть на себя. Мама перед войной купила себе «ингредиенты» для будущего зимнего пальто, которыми очень дорожила. Поэтому она свернула в рулон подкладочную ткань и пришила ее снизу к меховому воротнику – длинному куску довольно жесткого, крашенного в коричневый цвет белька. Получилась тяжелая «колбаса», с одной стороны колючая, с другой – скользкая. Мама набрасывала её мне на плечи, концы свисали ниже пояса, всё это съезжало, мешая мне двигаться. Не помню уж, как она сберегала главный компонент пальто – сукно. Зато знаю судьбу ватина из того же набора: к декабрю мама соорудила мне из него подобие шаровар или рейтуз, используя для этого весь кусок, так что они были, кажется, четырехслойные. Вообще-то мне нравилось бывать в этом бомбоубежище (только не ночью!) – там было много детей моего возраста. Мы играли, читали (кажется, и детские книжки в бомбоубежище были «свои»; там, например, я прочитала сказку «Цветик-семицветик»). Из детей помладше запомнила очаровательную четырехлетнюю девочку Маргошу, которая играла с желеудями, раскладывала их на сиденье, перебирала, считала. Когда кто-то попросил у нее несколько желеудей, она строго сказала: «Желуду по карточкам!», рассмешив всех. Это было, наверно, в сентябре, и карточки пока что были для нас

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
им. М. Зощенко
ГУК "ЦБС Курортного района" Санкт-Петербурга
197701, г. Сестрорецк,
ул. Железняк, 7 тел. 434-7157

Другое бомбоубежище, попроще, было в подвале прямо под нами, туда мы попадали прямо по нашей черной лестнице, спустившись со второго этажа. Там было темно и тесно, но толщина стен была убедительной. Раньше этот подвал использовали для хранения дров, ведь в доме не было центрального отопления. Каждая квартира имела отдельную клетушку (сарай). Запасы дров пополняли обычно в начале отопительного сезона, а к лету сараи пустели. Поэтому, когда война началась, подвал нетрудно было освободить.



Бомбоубежище. Ноябрь 1941 г.

Постепенно ходить в убежище люди стали все реже, а потом и вовсе перестали, не потому, что опасность стала меньше, а просто как-то привыкли. Папа показал нам, какие из стен в нашей квартире являются капитальными и должны устоять даже в случае прямого попадания бомбы (таких примеров мы уже видели немало). Один из проемов капитальной стены приходился на коридор. Входная дверь также находилась в проеме толстой капитальной стены. Вот в эти проемы, когда бомбили уж очень поблизости, мы и вставали (или садились на стулья, если налет продолжался долго).

Мама и штаб ПВО

К обустройству бомбоубежищ и прочим противовоздушным мероприятиям в нашем доме была причастна и мама. Когда мы вернулись из Тихвина, её назначили начштаба МПВО. Мама несколько дней принимала хозяйство от каких-то дядек, подбирала себе в штаб

помощниц. И я с ней ходила хвостиком то на чердаки, то в подвалы, вылезала на крышу.

Замечательный вид открывался с нашей крыши! Тогда не было домов-высоток, и наш дом считался очень высоким. В плане он представлял собой что-то вроде буквы «О». Одна его половина имела шесть этажей, другая – семь. Высота потолков была не 2,5 метра, как в теперешних домах, а около четырех, так что дом соответствовал современному 10-12-этажному. Стоя на крыше, я будто парила над ближайшими домами, над невысокими постройками соседней Военно-медицинской академии. Рядом – Нева, между набережной и нашим домом – только небольшое здание Музея Пирогова и бензоколонка. Нева широченная; мне видны с крыши и Летний сад, и мосты: Литейный, Кировский, и мост Лейтенанта Шмидта за ним, и Стрелка Васильевского. Золотая игла Михайловского замка, купол Исаакия и Петропавловская крепость еще не были укрыты темными маскировочными чехлами, а на набережной Кутузова дома уже были вкось раскрашены черной и рыжей краской, «под руины». В общем, разворачивалась вся панорама центра, я и названий-то всему тогда не знала. И еще открывалось отсюда огромное небо, на краешке которого всегда хоть где-нибудь да висели белые клубочки зенитных разрывов, а порой где-то далеко и нестрашно скользил крестик самолета, не знаю, чьего. От этого простора и света появлялось ощущение радостной свободы, а от близости мамы, такой деловой и уважаемой, я чувствовала себя уверенной и счастливой.

На чердаке – главном плацдарме ПВО – было необыкновенно чисто. Было запасено много необходимых вещей – мешков с песком, и песок в железных бочках, и пол засыпан толстым слоем песка, и всякие лопаты, щипцы, чтобы хватать зажигательные бомбы и совать их в этот песок, и еще что-то. Новенькие инструменты висели на новеньких щитах. Всё было правильно и продуманно, как на учениях. И это продуманное изобилие вселяло уверенность, что всё предусмотрено, за всем следят умные, надежные взрослые, и ничего страшного с нами случиться не может. Отголоски этого чувства, видимо, сохранились во мне надолго и всю войну помогали жить без страха, в счастливой уверенности, что всё делается правильно и всё будет хорошо. Может быть, поэтому судьба и хранила нас. Или Бог, которому я тогда не молилась, а теперь, продолжая оставаться нехрещеной и невоцерковленной, часто возношу неумелые благодарные молитвы, от которых льются жаркие слезы.

Всю осень наша семья жила дежурствами. Полагалось, чтобы в штабе МПВО (в помещении жилконторы) и во всех подъездах

круглосуточно находилось по дежурному (в конторе надо было быть у телефона, а в подъездах — следить, чтобы в дом не заходили посторонние), и чтобы была также дежурная команда на крыше для борьбы с «зажигалками». Мама составляла графики всех дежурств, писала жильцам повестки. Иногда их разносила я. Повестки надо было вручать лично. Для этого ходить приходилось вечером, когда люди приходили с работы. На лестницах было темно, и папа вешал мне на шею наш заветный электрический фонарь — чудо начала двадцатого века в кожаном футляре на ремне, размерами почти с портфель, с аккумулятором. Фонарь пригибал меня к земле, тяжело хлопал по груди, а светил так слабо, что светомаскировки никак не нарушал. К повесткам люди относились по-разному: кто-то спокойно брал и говорил спасибо, кто-то сердился и отказывался, кого-то я не заставляла. В ту пору я еще играла в куклы и называла их запомнившимися фамилиями жильцов, разыгрывала с ними типичные «повесточные» диалоги, веселя родителей и Симу. Одна кукла была «артистка Вишнёвская» (мне казалось, что проносить нужно именно так, через «ё», ведь варенье же вишнёвое, а не вишневое). Этой однофамилице знаменитой Галины Вишневской всегда было некогда, и всегда у нее была репетиция.

Маме, папе и Симе приходилось дежурить очень часто, чтобы «заткнуть» неизбежные дырки в графике. Возвращаясь с дежурства на крыше, они говорили, что дом при бомбежках сильно качается. (Меня на крышу во время налетов, понятно, не брали). При этом папа уверял, что наш дом немцы специально не бомбят, чтобы не лишаться такого шикарного ориентира.

Однажды тяжелая бомба упала близко от нашего дома, во дворе Военно-медицинской академии. Рассказывали, что взрывная волна сбросила с крыши того здания деревянную будку с дежурным красноармейцем и аккуратно опустила ее на землю, так что он не пострадал. В другой раз бомба упала по другую сторону от нашего дома, на Финляндском проспекте, рядом с керосиновой лавкой, возле которой стояла длинная очередь. Бомба не разорвалась! Тогда ее не искали, а в 1970-х гг., когда начинали строить тот огромный лилово-кафельный дом, что тянется теперь от Сампсониевского проспекта почти до моста того же названия, — искали, но не нашли.

Мимо нашего дома по проспекту Карла Маркса на север, в сторону Лесного почти непрерывной колонной двигались беженцы из западных районов области. Стучали по брусчатке лошадиные и коровьи копыта (коровы были привязаны позади повозок), шаркали подошвы людей, скрипели телеги. Голосов людей слышно не было. В

нашей квартире недели две жила приятельница нашей соседки, бежавшая с дочерью из города Порхова Псковской области. Она дала мне книгу «Маленький лорд Фаунтлерой», но до ее отъезда я успела прочитать только 51 страницу и так и не узнала, чем кончилась книга. Куда потом девались беженцы, я тоже не знаю.

На углу проспекта Карла Маркса и Пироговской набережной, на обращенном к Неве фасаде длинного здания Академии появилась стандартная надпись белым по синему фону: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!». Почему-то мемориальный образец такой надписи сохранен только один, на доме № 12 по Невскому проспекту. Потомкам это место может представляться чем-то исключительным. Между тем такие надписи наносились по трафарету почти на всех широких улицах, на стороне, обращенной к западу или югу. Одна из сторон нашего дома тоже смотрела на юг, и когда Сима там дежурила в подъезде, рядом с ней упал горячий осколок снаряда, который она принесла домой. Потом симин осколок долго лежал на письменном столе, а рядом появились папины и мамины.

Когда кольцо замкнулось

Вечер 8 сентября – дня, ставшего началом полной блокады и отмеченного роковым пожаром на Бадаевских складах, я помню очень хорошо. Мама дежурила в штабе, в комнатке на первом этаже, рядом с лестницей. Я «была при ней», но вышла на улицу и сидела на небольшой присгупочке рядом с подъездом (когда-то там тоже была дверь, но ее заделали, а ступенька осталась). Мне было тепло от нагретой за день стены и хорошо, спокойно – мама рядом, недавно прозвучал отбой тревоги. В руках у меня почему-то был крошечный эмалированный ковшик с вареной чечевицей (может быть, мама взяла себе ужин на дежурство). И я медленно, растягивая удовольствие, ела эту чечевицу чайной ложкой. А потом подняла глаза и увидела, что за Невой до половины неба поднимаются черно-красные, жирные, переливающиеся и перевивающиеся клубы дыма, и всё расплзаются ввысь и вширь. В те дни люди говорили, что если бы не этот пожар, такого голода бы не было, что сгорели главные запасы провизии. Но позднее объясняли, что эти разговоры велись для того, чтобы обелить городское начальство, которое не озаботилось созданием надлежащих запасов. И что один склад, даже большой, никак не мог повлиять на ситуацию в огромном городе.

После 8 сентября прекратилась массовая эвакуация городского населения. Выезжали (вернее, вылетали самолетами с оказией)

единицы по специальным запросам и разрешениям. Такое разрешение сумел получить для своей жены сосед из квартиры над нами. Их дочка – моя ровесница и подружка – перед войной была отправлена к бабушке на Украину и осталась там, как тогда говорили, под немцами. (Она уцелела, но потом, при поступлении в школу, а затем в институт ей пришлось скрывать, что она там оставалась: такие люди, даже маленькие дети, были под подозрением). Сам же сосед воевал на Ленинградском фронте, откуда и направил этот вызов, а до войны он был работником Облесполкома, т. е. считался довольно важной персоной. Его жена вылетела из Ленинграда в конце октября каким-то случайным самолетом, и, как мы потом узнали, добралась до Большой земли благополучно.



Мама с вязанием и Оля. Цветы в горшках – подарки ко дню рождения мамы (8 октября 1941).

Уезжая, эта соседка оставила нам немногие остатки своих припасов: капелюк керосина, несколько небольших картофелин, еще что-то. Мама на кукольной сковородке, смазывая её касторкой, жарила по одной картошечке в день вместе с кожурой. Все картофелины, по одной в день, были отданы мне, поскольку родители считали, что главное – сохранить меня. Взрослых какое-то время выручал оказавшийся в доме небольшой запас кофе в зернах. Его мололи на ручной кофейной мельнице и заваривали. Гущу мама не выбрасывала,

и она пригодилась. Однажды папе выдали на работе целое богатство: флакончик фиолетового спирта-денатурата (в лаборатории им заправляли спиртовки, на которых нагревали всякие пробирки) и несколько крупных корнеплодов, тоже фиолетовых. Это была кормовая брюква, или турнепс, о существовании которого мы узнали тогда впервые. На вкус он напоминал грубую и одновременно водянистую редиску, только кожура была потолще и горькая. Турнепс мы быстро съели в сыром виде, а его кожуру мама пропустила через мясорубку, смешала с испитой кофейной гущей и поджарила на касторовом масле маленькие черные не то котлетки, не то лепешки. Они были такими горькими, что я их есть не могла, а взрослые ели, но изделия убывали как-то очень медленно. Флакончик же, принесенный папой, позднее стал валютой: когда нам выдали ордер на три деревянные балки из разбомбленного дома, разбираемого на дрова, флакончик пошел в уплату за их доставку. Дом был на Нижегородской (теперь улица Лебедева). Балки надо было сбросить сверху, прикрепить к саночкам, проволочь с полкилометра до нашего дома, затащить во двор и распилить. Самим нам это, конечно, было не под силу. (Одну из балок у нас украли прямо во дворе, пока папа и мама носили распиленные чурки домой). Но эта дровяная эпопея была позже, а пока речь идет о начале ноября.

Вечер 6 ноября запомнился мне не только тем, что по радио передавали знаменитую речь Сталина (война продлится полгодика, ну, годик), но и другим.

Когда я ходила в этот вечер с повестками по одной из лестниц, начался налет, завывли сирены. Я испугалась не бомбежки, а того, что станет беспокоиться мама: вечер, темно, тревога объявлена, а дочки нет. И я побежала вниз по лестнице и упала. Зазвенело разбитое стекло, фонарь, болтавшийся у меня на груди, погас, из аккумулятора что-то потекло... Больше меня с повестками не посылали. И вообще дежурства вскоре постепенно сошли на нет. Жильцов становилось всё меньше: кто-то сумел уехать, кто-то ушел на фронт или перешел на казарменное положение, а потом уже и умирать стали от голода.



Следующий день – 7 ноября тоже хорошо запомнился: в тот день мама отдала мне последнюю картофелинку из тех, что оставила соседка; можно считать, что ноябрьский праздник был только у меня. Вечером заметно подморозило, и запомнилось, как мы в ярчайшем лунном свете по этому морозцу бежали под вой сирены в дальнее, «лучшее» бомбоубежище. Видимо, разрывы бомб слышались близко, и все спешили укрыться. Люди бежали в затылок друг к другу сплошной цепочкой, стараясь прижаться к стене дома. Мне впервые было страшно. Когда мы уже почти добежали до входа, послышался оглушительный рев мотора и сразу же длинная пулеметная очередь. Тогда я была уверена, что это пикировавший фашистский летчик стрелял непосредственно по нашей цепочке. Но возможно, что это пытался попасть по самолету пулеметчик с наблюдательной вышки Военно-медицинской академии. Так или иначе, мы благополучно ввалились в бомбоубежище и благополучно дождались отбоя.

В ноябре мы перебрались из большой комнаты, которую было бы не натопить, в маленькую, темную. Электричества в то время уже не было, потом оно появится только весной, лампочки будут загораться вполнакала на какие-нибудь 2-3 часа. Всю зиму приходилось пользоваться самодельной коптилкой. Это склянка или жестянка, накрытая сверху жестяным кружком, в серединку которого воткнута металлическая трубочка, а через трубочку просунут фитиль – жгутик из тряпочки, марли либо ниток. В склянку заливают керосин (а

если его нет – бензин с солью, но это гораздо, гораздо хуже), опускают нижний конец фитиля в керосин, а верхний конец зажигают. Появляется желтая дрожащая капелька огня, который светит раза в четыре слабее, чем маленькая свечка.

Свечи в нашем доме тоже бывали. Сначала в ход пошли огарки елочных свечек, которые обнаружили в коробке с елочными игрушками. Потом папа пытался сам делать свечи. Он заливал растопленный парафин, оставшийся от огарков, то в стеклянные пробирки (которые потом не хотели слезать с готовых изделий), то в трубочки, свернутые из гладкого картона. Картонные трубочки имели преимущество: во-первых, нитяной фитиль удавалось натянуть строго по оси свечки, во-вторых, картон, развернув, легко можно было снять со свечки. Но папины изделия горели плохо, трещали, плевались. Наверно, папа не разгадал секрета обработки фитилей. Кстати, среди елочных игрушек нашлось и другое богатство: несколько обернутых фольгой грецких орехов, которые когда-то висели не елке. Они валялись в шкафу много лет и давно прогоркли, но штуки три я все-таки съела тайком от взрослых, стыдясь своего эгоизма. Зато когда среди кукольной посуды, в игрушечной деревянной сахарнице я нашла два кусочка сахара, то честно отдала их маме, и мы долго радовались и обсуждали это событие. Для поисков всех этих свечек, орехов и других реликтов мирной жизни нужно было выходить из относительно теплой маленькой комнаты и совершать экспедицию в большую, где было, казалось, так же холодно, как на улице, но светло. И одеваться приходилось, как для улицы.

Почти кончился керосин (оставалось только на коптилку), пришлось отставить керосинку. Этот ныне вымерший бытовой нагревательный прибор состоял из емкости для керосина (примерно на полтора литра), над которой возвышалась широкая металлическая труба высотой около 20 см, увенчанная подобием конфорки. В нижней части трубы была горелка с двумя или тремя широкими фитилями, высоту которых (и силу пламени) можно было регулировать, крутя соответствующие головки. В середине трубы было окошечко, закрытое листиком слюды (такие листики продавались во всех хозмагах), через окошечко можно было следить за огнем. На керосинке чайник закипал раз в пять медленнее, чем на газовой плите. Наша довоенная керосинка прослужила нам долго, до середины 1950-х гг. Ну, а когда осенью 41-го ее стало нечем заправлять, мы начали готовить пищу (главным образом кипятить чайник) в печке-голландке. Потом, ближе к концу зимы, у нас появилась и знаменитая железная печь-буржуйка, воспетая всеми бытописателями блокады; кто нам ее изготовил, и чем мы

расплачивались, я не знаю. А пока мы устраивались иначе. Папе дали в институте лабораторный треножник – маленький железный таганок, на каких устанавливают колбы, нагреваемые спиртовкой. Этот таганок мы ставили в печку, а на него осторожно водружали наш медный чайник или кастрюльку. Топливом при готовке служили старые газеты, журналы, ноты, за которыми мы периодически ходили в холодную комнату. Мы с мамой работали вдвоем: я брала очередной лист бумаги, быстро скручивала его в плотный жгут толщиной около 1 см и передавала маме, а она кормила огонек из рук. Бумаги при такой технике уходило мало, а огонь горел сильно и ровно, и чайник быстро закипал. Конечно, мы не сразу научились работать слаженно, но потом навык быстрого скручивания стал у меня автоматическим. И много лет спустя, уже в мирной взрослой жизни, разжигая костер в походе или экспедиции, я удивлялась своим рукам, которые крутили бумажные жгуты независимо от моего сознания. Когда мы кончали готовить, таганок убирали, и печку можно было топить, чем было – остатками дров или тоже чем-то бумажным. Однажды треножник нас подвел. Когда мама варила суп из последних крупинок риса, сохранившихся с «докарточных» времен, треножник опрокинулся, и все содержимое котелка вылилось в печку. Отвар пропал! Но крупинки мама попыталась спасти: она выгребла из печки всю золу и выбрала из нее все крупинки по одной. И хотя она их много раз промыла водой (которая тоже была дефицитом), зола всё равно сильно скрипела на зубах.

За водой мы ходили на Неву, благо это было близко. Беда была в том, что вскоре обледенел спуск к воде. Гранитная лестница на Пироговской набережной (рядом с массивной гранитной же скамьей против угла здания, где библиотека ВМА) сохранилась, по крайней мере, еще недавно она была. Ступенек, кажется, было 14 (теперь мне трудно приехать из Сестрорецка, чтобы проверить). Внизу была полукруглая слегка наклонная площадка, вымощенная брусчаткой. С уступа этой площадки нужно было шагнуть вниз, на лед Невы. Этот обледенелый уступ был серьезным препятствием, как и уклон площадки и каждая из ступенек лестницы. Тут же, у Пироговской набережной была пришвартована вмержшая в лед баржа, а на середине Невы стояли тоже вмержшие военные корабли. Мы иногда пытались пользоваться вместо воды снегом, но во дворе он был грязным, потому что там жильцы выливали нечистоты, а носить снег с улицы (тоже не такой уж чистый) было немногим проще, чем воду из Невы. Кроме того, от принесенного снега в холодной комнате становилось еще холоднее. Умывались мы редко из-за холода, спали не раздеваясь, почти все были

до глаз обвязаны платками, так что и умывать было почти нечего. Лица встречаемых (и наши) были темными от чада коптилок, печного дыма и этого редкого мытья. Мы с мамой первый раз более или менее хорошо помылись (и то по частям) весной, когда солнце стало нагревать нашу большую комнату. Должно быть, тогда у нас опять появился керосин, потому что было несколько кастрюль воды, нагретой на керосинке, при этом и комната прогрелась, так что рядом с керосинкой можно было раздеться.

Наш обычный день в ноябре-декабре 1941 г.

Я попыталась восстановить последовательность наших действий в течение дня в тот период. Но перед тем, как излагать, надо напомнить, что всё происходило на фоне постоянного, непрекращающегося чувства голода. Так что по-настоящему после каждой фразы надо было бы добавлять: «хотелось есть» или «очень хотелось есть». Это было первое, что ощущалось при пробуждении, а часто и до пробуждения. Тем не менее, я обычно не слышала, как уходил на работу папа. Он шел сначала к себе в институт на Литовскую улицу, а потом на лекции в другие места, в частности, на курсы усовершенствования медсостава (КУМС). Где они находились, я не знаю, но мама подсчитала, что папа проходил каждый день километров 17. Он не мог не уставать. Утром и вечером идти приходилось в темноте. Обстрелы и бомбежки случались в любое время суток. Днем мы с мамой за обыденной суетой не успевали ни о чем думать, а к вечеру тревога за папу все нарастала и становилась нестерпимой. Мы как бы в шутку, а на самом деле – вкладывая всю силу мольбы, начинали петь-заклинать: «Папа Гриша, приходи, нам чего-то принеси!», а через некоторое время: «Ничего не принеси, только сам-то приходи!». И он приходил.

Через много лет, вспоминая это, я писала в Поэме об отце:

Декабрь сорок первого. Блокада.
Пешком на лекции. Всё меньше сил.
Мы с мамою под уханье снарядов
Молились, чтоб скорей он приходил.
Не Бога умоляли мы, а Гришу.
Но, видно, Бог молитвы наши слышал,
И Он нам грех неверия прощал –
Живым отца и мужа возвращал.

Пока папа был на работе, мы с мамой шли в булочную за хлебом. Все выкупали хлеб по талонам на завтра (на сегодняшние

талоны хлеб всегда был уже получен накануне). На каждый день был свой талон. Карточки разных категорий (рабочие и ИТР, служащие, иждивенцы, дети) обозначались разными литерами и различались по цвету, поэтому их было трудно перепутать. Количество граммов хлеба на талоне не указывали, потому что оно не было постоянным в течение месяца. Больше чем на один день вперед хлеб не выдавали. В булочной былолюдно и темно, горела коптилка, ведь в декабре светает так поздно, а света не хватало даже днем из-за «фанерных» окон и из-за плотной стены ожидающих. Днем за хлебом ходили немногие, ведь и до утра-то трудно было дотерпеть. Очередь двигалась медленно, и в ожидании я смотрела на огонек коптилки или рассматривала лепнину потолка и большую нарядную печь, поблескивающую в дрожащем свете пламени цветным кафелем с выпуклыми узорами. Кажется, это были цветы. Более четко я вспоминаю другую роскошную кафельную печь, которая стояла в вестибюле парадной лестницы нашего дома, той самой лестницы, где разбился мой злополучный фонарь. Та высокая, до потолка печь была выложена темно-зеленым, травяного оттенка кафелем и украшена головками амуров. Очередь в булочной двигалась медленно потому, что продавщица должна была: взять у покупателя карточку (из руки в руку, чтобы не выхватил какой-нибудь злодей), вырезать при тусклом свете талон, вернуть карточку, получить деньги, дать сдачу, отвесить на двухчашечных весах с гирьками нужную порцию хлеба. Обычно покупатели просили выдать хлеб по каждой карточке отдельным весом, чтобы каждый член семьи мог отдельно распорядиться своим пайком. Отрезать от буханки ровно 250, или ровно 200, или 125 граммов было почти невозможно, поэтому до нужного количества приходилось добавлять маленькие кусочки – довески. Если удавалось отделить нужный кусок точно, без довесок, то тот из членов семьи, кто ходил за хлебом, чувствовал себя неудобно: боялся, что могут подумать, будто он съел довесок. Получать хлеб по карточке можно было не в любой булочной, а только в той, к которой, как тогда говорили, эта карточка была «прикреплена». В начале каждой декады карточки полагалось регистрировать, для этого нужно было лично явиться в жилищную контору. Так что если человек умирал, семья могла пользоваться его карточкой не дольше, чем до конца декады.

Получив хлеб, мы относили его домой и завтракали. Вернее, я знаю, что мы должны были завтракать, но не могу вспомнить, ели ли мы утром что-нибудь кроме этого хлеба, пили ли «чай» или экономили топливо и воду. От суточной порции хлеба утром отъесть надо было не больше трети. Папину порцию – 250 г – мама складывала отдельно. У

нас с мамой было по 125 г. В сущности, эта минимальная норма хлеба действовала не так уж долго, наверно, чуть больше месяца, но всем запомнились именно эти 125 граммов. Уже в конце декабря, когда наладилось снабжение через Ладогу, нормы стали постепенно увеличивать. Но за этот месяц произошли такие сильные, а часто и необратимые изменения в телах голодающих людей, что с помощью этих жалких прибавок сделать их здоровыми и сытыми было невозможно. А многие и вообще не дождались увеличения норм. Все пишут и говорят, что хлеб был очень плохой, сырой, со всякими несъедобными добавками. А я этого совсем не запомнила. Это был Хлеб, и всё.

Позавтракав, мы с мамой каждый день (так мне помнится) шли по проспекту Карла Маркса в папин институт на Литовскую улицу. Папе полагался там мини-завтрак – стакан чая с сахаром. По времени у него почему-то не получалось выпить этот чай, но чайную ложку сахарного песка можно было взять сухим пайком. За этой ложечкой мы и ходили (со специальной коробочкой) – 3 километра туда и 3 километра обратно. Я так хорошо помню эту коробочку из моего игрушечного набора деревянной посуды, не только на вид, но и на ощупь, крепко зажатую в моей детской ладони. Это было золотистое (как «охлома», но без росписи) яблоко, вроде тех продолговатых крымских, которые до войны продавались перед Новым годом и вешались на елку. Оно, как матрешка, состояло из двух разъемных половинок, плотно соединявшихся друг с другом. Именно в этом яблоке я и нашла тогда те два кусочка сахара, о которых уже говорилось. С тех пор яблоко считалось счастливым, и мы никогда не забывали взять его в поход на Литовскую. Оно было не только контейнером, но и талисманом, знаком связи с мирным прошлым и надежды на удачный поход. Ведь часто по дороге нам приходилось пережидать в каком-нибудь подъезде обстрел, как пережидают дождь. Один раз пришлось очень долго, до сумерек стоять под защитой каменного крыльца дома у Гренадерского моста, где потом была 108-я школа. Конечно, такие укрытия не спасли бы от прямого попадания снаряда, но защищали от возможных осколков.

Вдоль нашего маршрута тянулся длинный сквер, весь перекопанный зигзагами траншей – упрощенными вариантами бомбоубежищ. Траншеи были крытые, так что видны были только темные отверстия входов. По детскому пристрастию забираться во всякие замкнутые пространства, я как-то раз рванулась было туда, но мама с непонятной мне суровостью не позволила. Меня успешно оберегали от вида мертвых людей (защитые в одеяла покойники на

саночках не в счет). Только потом, ближе к весне, когда папу уже выписали из госпиталя, и мы пошли с ним на прогулку по слепающему от солнца снегу набережной в сторону Литейного моста, я на этом ярко белом фоне увидела и хорошо рассмотрела молодую женщину. Она лежала на боку в легком платье, коричневом в светлых цветочках. Высушенная морозом кожа худых ног тоже казалась коричневой. Лица я не успела разглядеть, только темные волосы и оскал зубов – папа взял меня за плечи и развернул в другую сторону. Наверно, её валенки, и пальто, и рукавицы, и может быть, даже чулки были кому-то очень необходимы, а ей уже не были нужны. Я, конечно, знала, что умирает много людей, но такие подробности смерти видела впервые.

В те дни, когда у мамы были более трудные дела, чем наш обычный поход с деревянным яблочком, она оставляла меня дома и уходила одна. Ведь нужно было пытаться отоварить другие продуктовые карточки. Их было несколько видов: на крупу и макаронные изделия, на сахар и кондитерские изделия, на «мясо-рыбу» и на жиры (а может быть, талоны на жиры были на той же бумажке, что и «мясо-рыба»). Маленькие листочки бумаги (примерно 6 на 8 см), чуть рябенькие от нанесенного «противоподелочного» узора из тонких линий и точек были расчерчены на сантиметровые квадратики, каждый из которых соответствовал тому или иному количеству граммов продукта. Сколько именно граммов было на тех талонах зимы 41/42 года я не помню, зато запомнила, что в куда менее голодную следующую зиму, уже за кольцом блокады на крупяных карточках моих родителей были талоны достоинством 20 и 40 граммов. И когда они обедали в столовой по «прикрепленным» к ней карточкам, то у прилавка говорили: «Мне кашу за 40» или «Кашу за 60», платили небольшие деньги, и от их карточки отрезали нужные талоны. Каша за 40 – это примерно столовая ложка размазни с верхом, каша за 80 – довольно приличная порция. Не помню, сколько всего крупы полагалось в декабре 1941-го, может быть, двести граммов, т. е. чуть больше, чем две полноценных порции каши на месяц. Но далеко не всегда карточки удавалось отоварить, нужно было ловить момент, когда привезут продукты. Однажды маме удалось по мясным карточкам получить требуху (кишки), должно быть, конские, не знаю точно. Их давали в тройном размере как менее полноценный по сравнению с мясом продукт. Не знаю, как мама сумела промыть и сварить их, это ведь не чайник вскипятить, таганком и бумажками не обойдешься. Запах в доме стоял довольно противный даже по тем временам. По сахарным карточкам как-то удалось получить соевые конфеты «Конек Горбунок», темно-коричневые, в потемках похожие

на шоколадные. Они показались волшебны вкусными, и мы уверяли себя, что они очень сытные и полезные. Эти удачи запомнились, потому что их было мало. Часто талоны просто пропадали. При этом считалось, что нам ещё повезло, потому что наш Выборгский район – рабочий и якобы снабжается лучше, чем, например, Петроградский, где, как говорила мама, живут в основном старушки-салонницы, т. е. «бывшие». Кроме продуктовых карточек были промтоварные, по которым должны были выдаваться керосин, мыло и еще что-то. Выдавали еще и табачные изделия, но я не знаю, всем ли взрослым. Во всяком случае, папа со своей категорией ИТР (рабочие и инженерно-технические работники) получал такие талоны. Незадолго перед войной он бросил было курить, а теперь снова начал, говорил, что после курева не так сильно есть хочется.

Пока мама ходила по своим делам, продуктовым и еще каким-то, должно быть, по МПВО, а может быть, навещала родных в дальнем Лесном, я оставалась сидеть в нашей темной комнатке, вернее, стоять у печки, если та была не совсем холодная. Я была в валенках, толстых рейтузах, которые мама соорудила из ватина, купленного ею до войны для своего зимнего пальто (воротник от которого я и таскала в бомбоубежище, пока мы туда ходили), в каких-то кофтах, а поверх всего была крест-накрест обвязана шерстяным платком. У меня появилась привычка, которая не нравилась маме: стоя спиной к печке, я раскачивалась вправо-влево, переступая с ноги на ногу. Когда мама меня одергивала, папа защищал, – мол, а чем же ей (то есть мне) заняться? Однако «топталась» я в основном тогда, когда родители были дома, потому что при них мне просто не оставалось пространства для более активных действий. Когда я оставалась одна, то старалась что-то делать, чтобы не так хотелось есть. Я либо слушала радио, либо устраивала короткую «экспедицию» в холодную светлую комнату. Там можно было пролистать приготовленные на топливо номера «Всемирного следопыта», поискать среди игрушек чего-нибудь интересного (а вдруг что съедобное попадется вроде тех орехов) или просто подойти к окну и поглядеть на пустынную снежную улицу. Иногда я просто мечтала. Мне хотелось, чтобы всё стало, как было до войны, хотелось тепла, голубого неба, общения с другими детьми. «Небо голубое, небо голубое, – бормотала я – а в небе облака». Так ведь это начало стихотворения! А дальше как? «Небо голубое, а под ним течет река!» И дальше картинка начала разворачиваться перед глазами, благо полутьма комнаты позволяла не отвлекаться ни на что другое. В воображении возникло действующее лицо – рыбак в лодке. Взяв тетрадку из набора, приготовленного с лета для первого класса, я

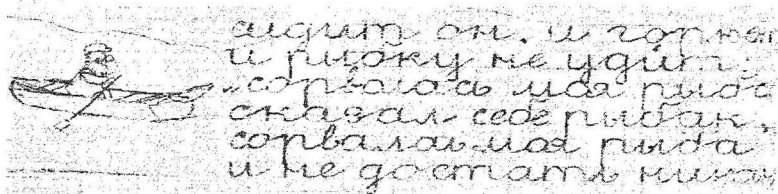
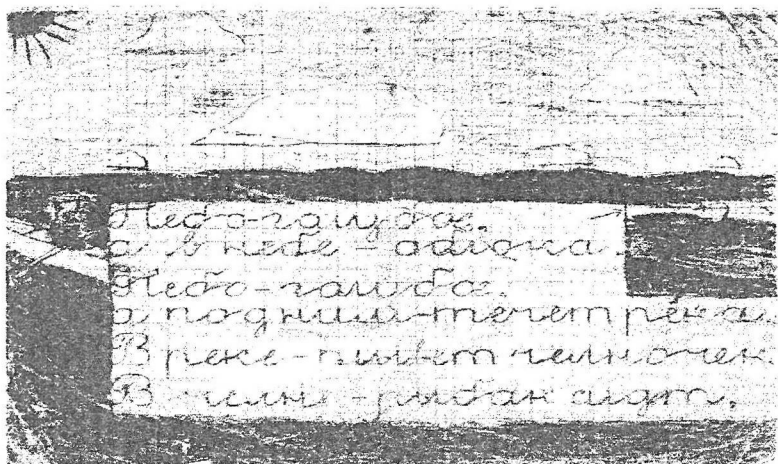
уселась за стол и начала в этих потемках выводить по клеточкам буквы на середине страницы:

Небо голубое,
А в небе – облака.
Небо голубое,
А под ним течет река.
В реке плывет челночек,
В челне рыбак сидит...

Место на странице кончилось. Я перевернула лист и бодро продолжила:

Сидит он и горюет
И рыбку не удит.
«Сорвалась моя рыба –
Сказал себе рыбак, –
Сорвалась и ушла,
И не достать никак».

Потом я обвела написанное рамкой, а на оставшемся вокруг рамки месте цветными карандашами нарисовала бледно-голубое небо с белыми облаками, густо-синюю реку в зеленых берегах и желтую лодку с рыбаком в клетчатой кепке. Рыбак получился мелким и невыразительным, поэтому я для верности нарисовала его и на другой стороне листа, покрупнее. Теперь рыбак горевал вполне убедительно и левой рукой, похоже, утирал слезы, не выпуская весла из правой руки. Видимо, осознав безнадежность вторичной поимки рыбы, он положил смотанную удочку на корму лодки. Эта сторона рисунка осталась не раскрашенной, наверно, к тому времени вернулась мама. Рисунок этот маминими заботами сохранился, иначе я едва ли смогла бы так подробно его описать. Но сам процесс сочинения стихов про голубое небо, стол, тусклый свет от форточки слева – всё это осталось в памяти



Мечты о голубом небе с облаками.

Декабрь 1941 г.

Однажды в отсутствие мамы к нам пешком из Лесного пришла тетя Вера. Наверно, именно тогда она пригласила нас придти к ним в Лесной на Николин день (об этом походе надо рассказать отдельно) и принесла мне подарки. Два подарка были чисто «девчоночьи» и большого восторга у меня не вызвали. Одним из них был маленький альбом для стихов в сером коленкоровом переплете с вытисненной розой, на первой странице которого была надпись: «Тетя Вера Николавна дарит Оленьке альбом, просит помнить тётю славу, поминать всегда добром». (Вот, не забыла же я, всё помню, милая Верочка, и поминаю тебя добром, и сейчас, когда пишу, – плачу). Альбом я использовала по назначению гораздо позже, в пятом классе. Другим подарком был пластмассовый браслет-змейка («скажи папе, пусть он положит в горячую воду и сделает тебе по руке»). Куда интереснее были другие подарки, надолго занявшие весь мой досуг – три настольных игры типа «сделай сам»: «Катание на санках»,

«Катание в зоосаду» и «Плетение ковриков». Оба «катания» представляли собой оригами: из бумаги надо было по образцу согнуть-сложить фигурки спортсменов и разных типов спортивных саней (тогда я впервые узнала слово «бобслей»), а также тигров, слонов и других зверей. Оригами меня не очень увлекли, главным образом потому, что для готовых изделий нужно было много места, а у нас тут был совсем маленький стол. А вот к плетению бумажных ковриков я пристрастилась. Для работы с ними не требовалось много места и света. Их можно было плести, слушая радио. Маленькие пестрые плетеночки с красивыми узорами стали хорошими закладками для книг, и иногда они до сих пор обнаруживаются в наших старых книжках.

Когда возвращалась мама, мы съедали что-нибудь вместе. Иногда это был суп из дрожжей, который в некоторых столовых можно было получить без карточек – мутная подсоленная вода с запахом дрожжей, но все-таки не просто вода. Съедали вторую треть хлеба. А потом мы ждали возвращения папы. Вечером все доедали свой хлеб и ложились, тщательно укутываясь всем, чем можно – я на свой диванчик, папа с мамой на свое ложе.

При мне родители никогда не показывали, что встревожены, что не знают, как быть, как спастись. А когда я, как они думали, засыпала, они сразу начинали шептаться; прорывались все их родительские заботы и страхи. Они каждую ночь спорили и торговались, кому из них важнее остаться в живых, а кому, соответственно, надо перестать есть. Каждый, конечно, предлагал в жертву себя. Но об этом я догадалась (да мама и сама потом проговорила), только став взрослой. А тогда я просто смутно чувствовала, что происходит что-то неправильное, жуткое, противное, в чем я как-то виновата, и мамин срывающийся на плач полуслепый тоже был мне противен. Я начинала ненавидеть – не немцев, не войну, не сложившуюся ситуацию, а самых дорогих мне людей, особенно более слабую и паникующую маму! Я про себя кричала маме: «Перестань, перестань!», беззвучно выла, корчилась, меня всю трясло, пока я не засыпала. А наутро рядом со мной снова были спокойные, уверенные взрослые, и я их по-прежнему любила, и начинался день, который надо было прожить, на что и уходили все силы этого дня. Но вечером всё повторялось. Много лет я, стыдясь этой своей ненависти, старалась задавить самое воспоминание о ней и преуспела в этом. А теперь, когда снова начала подробно вспоминать то время, я вспомнила и про это чувство и стала разбираться в нем. Я поняла, что ненависть эта была к бессмысленности угаданной мною жертвенности,

к ее очевидной неумелости. И мне стало легче, отпустили стыд и чувство вины перед мамой, терзавшие подсознание.

Николин день

В маминой семье всегда почитали день Святого Николая (19 декабря по новому стилю). Николаями звались мамин отец и отец маминого отца, старший брат мамы и его сын (а потом и внук, и правнук) – такая традиция сложилась в семье Соболевых. Отец маминой мамы тоже был Николай. В мирное время этот день в Лесном всегда праздновали. И нынче тоже решили отметить, хотя в доме в наличии был только один Николай – мой семилетний двоюродный брат, сын тети Нади. И пригласить гостей – нас, и посадить за стол! Это уже было подвигом. От нашего дома до дома в Лесном было 6 километров. Трамваи уже давно не ходили, надо было добираться пешком. Мы с утра потихоньку побрели все втроем. Папа был в этот свободен. Я вспомнила, что в другой свободный день он взял меня с собой на небольшой рынок-толчок, который был в Финском переулке возле Финляндского вокзала, просто посмотреть, а может, и какую-нибудь еду купить. Было уже далеко за полдень. Десятка три хмурых людей с ищущими глазами топтались на морозе. Еды никто не продавал, а вещички, которые не очень настойчиво предлагали эти люди, никто не покупал. Кто-то сказал нам, что недавно продали буханку хлеба, и назвал цену, что-то трехзначное, а также крысу за 30 рублей. Мы ушли ни с чем.

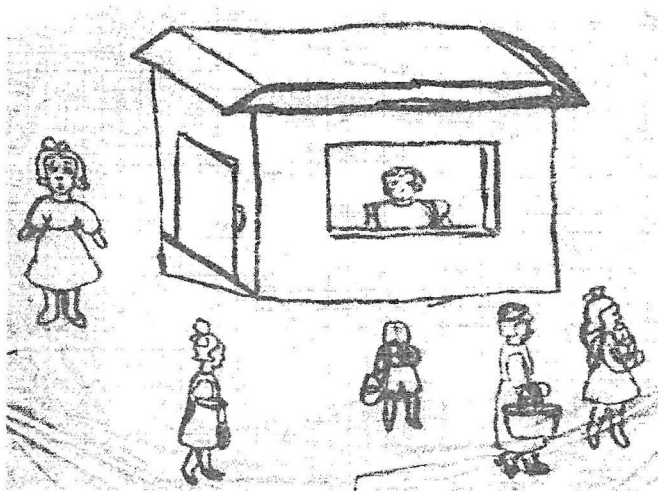
Мороз 19 декабря, как и положено в Николин день, был крепкий. Сначала мы шли привычным путем до Литовской улицы (это полпути), потом вышли на Лесной проспект, прошли до Флюгова переулка (теперь это Кантемировская улица). Все дома справа по Лесному проспекту (новые, предвоенные пятиэтажки) от Флюгова переулка до насыпи железной дороги, идущей на Кушелевку, тихо, буднично, горели. Ленивое пламя поднималось из нескольких окон каждого дома, и видно было, что в квартирах, которым принадлежат соседние окна, уже все сгорело, и теперь огонь перейдет на другие, еще не выгоревшие части здания. Никто не смотрел на пожар. Никто не пытался тушить. Кто-то нам объяснил потом, что огонь наступает так медленно, что люди спокойно успевают собрать вещи и уйти куда-нибудь в другое место.

Бабушка и мамыны сестры с детьми (а до войны еще и дядя Боря) жили на втором этаже небольшого деревянного дома на тихой Прибытковской улице, рядом с Большой Спасской (теперь проспект Непокоренных). У них там были, кажется, три комнаты и кухонька.

Прихожей не было, дверь средней комнаты открывалась прямо на холодную лестницу. Когда-то весь дом принадлежал их большой семье (у бабушки и дедушки было 12 детей) и заполнялся целиком, но потом семья стала меньше, её «уплотнили», и первый этаж отдали другим жильцам. В тот год внизу жили немолодые супруги, которые весной 42-го года были избиты в людоедстве; обоих арестовали и, по слухам, расстреляли. Но тогда мы этого не знали, а людей этих вообще никогда не видели.

В квартире у Соболевых было тепло, многолюдно и уютно. И, что было невероятно по тем временам, был накрыт стол, даже два: стол для взрослых и столик для нас, детей. Это было не просто проявление родственной близости, но и урок щедрости. Теперь я думаю, что всё шло от бабушки, от её тихой религиозности и верности христианским заветам, и мы не просто ели, а разделяли трапезу. Думаю, что наша семья пришла со своим хлебом, а может быть, мы принесли еще что-нибудь. Лёля и Надя были на работе (дело ведь происходило днем), из взрослых были только бабушка и неработающая тетя Вера. А нас, детей было пятеро: Эдик (4 года), Ира (6), Коля (7), я (8) и Мира (9 лет). Кажется, на столе были картошка и капуста из тех запасов, что удалось собрать тете Вере, когда она осенью вместе с другими женщинами буквально ползала с мешком по брошенным огородам и не полностью убранным ближним совхозным полям. Еще запомнился непонятный красно-бурый продукт с консистенцией повидла, без вкуса, со слабым противным запахом. Теперь я предполагаю, что это была барда – продукт переработки сахарной свеклы, который обычно пускают на корм скоту. Я стеснялась спросить у взрослых, что это такое, но тут Ира, шепелявя, охотно пояснила: «Мы называем её эта фтука», происхождения «фтуки» она не знала. А еще нам на сладкое дали по два кусочка дуранды (жмыха). Один был подсолнечный – буро-зеленый, довольно приятный на вкус, но твердый и колючий от кусочков шелухи, у его даже не сумела догрызть за столом и унесла домой. Другой был соевый – белый, мягкий, мучнистый, но почти без вкуса. Впечатление о празднике немного подпортил именинник Коля, брат Иры. Он раскапризничался, упал на пол, стал бить по полу ногами, кричал, его унимали. С теперешним обликом взрослого Николая – веселого, покладистого жизнелюба – мне очень трудно увязать воспоминание о том злом буяне.

Обратная дорога домой мне не запомнилась, наверно, я спала на ходу.



...Да несчастье помогло

Через три дня, 22 декабря, папе стало плохо. Он уже и до этого был истощен и слаб, дома не мог согреться даже под одеялом (хотя и хвастался, что придумал способ согреть в постели руки -- держать ладони подмышками), у него выпадали совершенно здоровые зубы; голод его мучил сильнее, чем нас с мамой. В тот день он потерял сознание и упал, как падали в ту зиму многие люди. Но по счастью, нет, по Божьему промыслу, это случилось не на улице, где папа был бы обречен, а в институте. Его, как своего преподавателя, положили в одну из клиник того же Педиатрического института. Не помню, как мы об этом узнали, телефон тогда не работал, но мама в тот же день была у него. Папа уже немного пришел в себя, но сознание вернулось не полностью из-за нарушения мозгового кровообращения. Недоедание разбудило его давнюю болезнь сосудов. Нужно было лечиться и, конечно, питаться. Несколько дней он пробыл в больнице института, начал понемногу восстанавливаться, но истощение сводило старания врачей к нулю, то и дело отказывала память, он плохо узнавал окружающих, говорил что-то невпопад. Усилиями институтского начальства (кажется, папиной кафедрой тогда заведовал человек по фамилии Лихачев, имя и отчество его я забыла; он стал нашим спасителем) удалось перевести папу в лучший в блокадном городе госпиталь-санаторий, помещавшийся в гостинице «Астория». Про этот

стационар написано много, спасали там и военных, но главным образом гражданских лиц: ученых, деятелей искусства, там поставили на ноги Карла Элиасберга, дирижировавшего первым исполнением в заблокированном Ленинграде знаменитой Седьмой симфонии Шостаковича. В «Астории» лечили не только лекарствами (например, Элиасбергу делали переливания крови), но главное, там позволяли пациенту уйти от ужаса блокадной жизни. Там относительно хорошо кормили, было довольно тепло, были постели с чистым крахмальным бельем; это было почти единственное место в городе, где не отключалось электричество. Пока папа лежал в Педиатрическом, меня к нему не пускали, а в «Астории» я была и видела и папу, и его палату, которая напоминала довоенную жизнь. Я была там с мамой не раз, но она, конечно, бывала там чаще, чем я. Ходили мы с ней (вернее, шла мама, а я обычно ехала на саночках) сначала по мосту Свободы через Большую Невку, потом поворачивали на Петровскую набережную. Крейсера «Авроры» там тогда еще не было. На гранитном парапете набережной черной краской были написаны лозунги, обращенные к зенитчикам стоявших неподалеку батарей: «Где бы немец ни летал, бей фашиста наповал» и «Днем и ночью рви немца в клочья», они сохранялись много лет после войны. Потом мы шли через Кировский мост, Марсово поле, по улице Халтурина, мимо атлантов Эрмитажа, через Дворцовую площадь, проходили под аркой Главного штаба на улицу Герцена, где и была (и теперь есть) «Астория». Нет, не получается в этом контексте, вспоминая те дни, писать: Троицкий мост, Миллионная, Большая Морская. Не было тогда Миллионных улиц, только горе было миллионным. Немного не доходя до гостиницы, мы проходили мимо дома, где жила мамина подруга-однокурсница с мужем, оба лесоводы. Сейчас их не было в городе: война застала их где-то в экспедиции, и они не попали в Ленинград. В доме оставалась его мать, и мы как-то зашли навестить ее. Но обычно мы шли мимо этого дома 33 и только думали про себя: «А вот дом Поддуевых. Как нам было здесь хорошо до войны» – и шли в «Асторию».

Папа лежал в четырехместной палате, его кровать была справа у окна. Когда я в первый раз заглянула в палату, у меня дух захватило: таким несказанным показался этот уют. На тумбочках у кроватей горели настольные электрические лампы под розовыми матерчатыми абажурами, и в их свете лица людей в палате, и папино лицо тоже, также были розовыми и казались здоровыми и довольными. Папа был укрыт красивым теплым одеялом. На голове у него был мой белый пуховый беретик (видно, не так уж и тепло было в палате), и прямо на

лбу оказалась вышитая красными нитками метка «Оля Растворова». Папин сосед, увидев меня, сказал: – «А вот и Оля Растворова». Я не удивилась, потому что уже заметила свое имя на папиной шапочке, а папа удивился, потому что он-то у себя на голове её не видел. Одним из папиных соседей был композитор Алексей Животов. Недавно, в 1990-х гг. мне довелось познакомиться с его племянницей Маргаритой Александровной, работающей в нашей университетской библиотеке, поэтому я и узнала его имя. Другой сосед был тоже композитор по фамилии Феона (с ударением на последнем слоге, а вот в фамилии Животов – на первом). Третьего соседа я не запомнила. Папа был очень оживлен, много и быстро говорил, смеялся, и казалось, что он совсем поправился. Но маму предупредили, что сейчас он возбужден благодаря новой обстановке, «но может наступить реакция», т. е. ему может сделаться хуже. Действительно, через несколько дней ему стало похуже, опять стала подводить память, но все-таки он быстро оправился. В «Астории» он пробыл, наверно, дней 15 и домой вернулся уже после Нового года.

Новый год

Новый 1942 год мы встретили вдвоем, без папы. Правда, он заранее, еще до болезни, купил нам подарки – книги. Для их приобретения в блокадном Ленинграде карточки не требовались! Мне были подарены «Большие надежды» Диккенса, маме – «Красное и черное» Стендаля (тогда я и узнала, что Стендаль – Анри Белль). Эти книги до сих пор живут в нашем доме. Для Симы папа купил подарочное издание лермонтовского «Демона» с иллюстрациями Врубеля. Но Сима к тому времени, кажется уже отправилась в Свердловск.

Настроение у нас с мамой было праздничное. Во-первых, с папой всё обошлось. Во-вторых, когда он 22 декабря попал в больницу, у нас не отобрали его «китезровскую» карточку (250 граммов хлеба в день!) А она уже была зарегистрирована на третью декаду, так что мы могли получать его паек до конца месяца! В третьих, вскоре, кажется, уже с 25 декабря, прибавили хлебную норму, и мы с мамой стали получать уже не по 125, а по 200 граммов, а папа, кажется, 300.

Была и еще одна приятная вещь. За день до Нового года, когда я почему-то стояла одна на улице возле наших ворот, наверно, поджидая маму, задержавшуюся с выходом из дома, я вдруг увидела на снегу несколько маленьких, с мою ладошку, зеленых еловых веточек! Видно, кто-то обрубал нижние лапки от настоящей елки и бросил их. Я подобрала веточки и потом поставила их в кувшинчике на стол. И стол

стал праздничным. На тарелке у нас было не то 15, не то 16 небольших, в пол-ладони, ломтиков хлеба, и мы договорились их не пересчитывать и не делить поровну, а есть, кто сколько хочет. Но это было очень трудно. Мы и боялись друг друга объесть, и хотели всё проглотить сразу, и не хотели показать ни того, ни другого, стараясь вести себя «светски». Вернее, это меня обуревали такие чувства, но возможно, что и мама что-то похожее чувствовала. А еще у нас был остаток вареной тrefбухи.

А через несколько дней к нам снова пришла тетя Вера и принесла настоящую, зеленую и колючую, нет, не елку, а сосенку из парка Лесотехнической академии. У Веры тоже была радость: ее Павел Христофорович, как она сказала, «вернулся с того света». На своем заводе ГОМЗ он упал без сознания и несколько часов не подавал признаков жизни, несмотря на попытки привести его в чувство. Так что все сочли его умершим, и уже даже унесли куда-то, а он ожил (и прожил после этого ровно 30 лет в счастливом согласии с тетей Верой).

Радио

Радио в блокадном Ленинграде было источником не только жизненно важной информации, но и радости. (Только сейчас заметила, что «радость» и «радио» – слова созвучные). Потом я написала в своем стихотворении, посвященном 40-летию Победы:

Но было ведь и радостей немало.
Вот радио – оно не умолкало.
Из мрака голос говорил живой
О том, что наступленье под Москвой,
Что лед на Ладоге совсем окреп
И что с Большой земли везут нам хлеб!
Я помню и стихов, и музыки звучанье:
В них было мужество и не было отчаянья.
Петровой голос с той поры блокадной
Нам стал родным и навсегда отрадным.
И если даже передачи не звучали,
Мы репродуктор свой не выключали.
Прислушиваясь к тиканью, мы знали,
Что радио заботится о нас:
Когда в секунду – раз, в секунду – раз
Качается неспешно метроном, –
Налёта, значит, нет, и мы живем.

Но проревет проклятая сирена,
И тиканье изменится мгновенно:
Частит, как сердце в страхе, метроном,
И в ожидании удара замер дом.

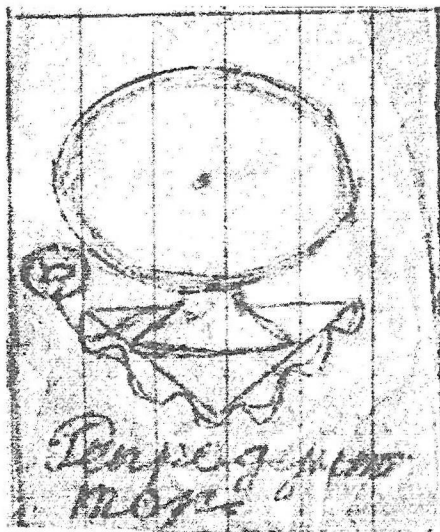
Свой ламповый радиоприемник, как я уже писала, мы сдали в первые дни войны. Оставался верный репродуктор – черная бумажная тарелка с металлическим «сердечком» в середине, из центра которого торчал твердый стальной усик. Она висела на стене в большой, главной комнате и исправно сообщала о военных новостях и тревогах-отбоях. Но когда мы стали жить в маленькой комнате, там было ничего не слышно, разве что сигналы сирены, которые были громче обычных передач. Вторую тарелку было взять негде, но папа нашел где-то «огрызок» старого репродуктора – металлическую серединку без бумажной тарелки, и, протянув провода через коридор, подключил к главной радиоточке. «Огрызок» вещал негромко, но слушать было можно.

Большую часть дня и всю ночь радио просто тикало, и по частоте стука было ясно, какова сейчас ситуация в ленинградском небе. Если тиканье метронома было редким (1 раз в секунду), значит, налета нет, причем нет на всей территории города. После сигнала тревоги метроном стучал примерно в два раза чаще, и этот ритм сохранялся всё время, пока враг летал хотя бы над одним из районов. После того, как радостный рожок выводил мелодию отбоя, а ликующий голос диктора повторял: «Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!», метроном возвращался к прежнему, медленному ритму. Ночью метроном не выключался.

На втором месте по продолжительности звучания были бодрые военные марши, ими начинался день. Собственно передачи длились, как мне запомнилось, меньше. Конечно, самыми важными были сводки новостей «От Советского информбюро», сообщавшие о положении на фронтах и других событиях общесоюзного и международного масштаба. Этих сводок все мы ждали и жадно слушали их. Если наши части оставляли какой-нибудь город, по радио называли только его первую букву, если населенный пункт освобождали, то название произносили полностью. В декабре 41-го уже делались попытки прорыва блокады, и были достигнуты какие-то успехи; в те дни по радио часто звучали такие названия, как Тихвин, Волхов, Мга и особенно запомнившееся мне Войбокало. Причем сначала произносили неправильно: Войбокалово (с ударением на «а»). Конечно, еще более радостно было услышать про большое наступление под Москвой. Папа

всегда весьма авторитетно комментировал все военные сводки. Зато, когда по радио зазвучал гимн Польши, вдруг очень уверенно начала подпевать мама: «И ничто стоять не может против нашей мести» или даже «Гром и пекло – всё напрасно против нашей мести». Гимн исполняли в связи с какими-то действиями Сикорского, может быть, даже его визитом в СССР (тогда я, конечно, запомнила только эту фамилию и лишь потом узнала, что Владислав Сикорский был премьер-министром польского правительства в изгнании и еще в июле 1941 г. возобновил дипломатические отношения с СССР). В общем, я была переимчивым ребенком, и все передачи, которые интересовали моих родителей, интересовали и меня.

Нравилось мне слушать и музыку. Запомнились веселые песенки: «Барон фон дер Пшик попал на русский штык» о чванном, но незадачливом бароне, «Мы с приятелем вдвоем оба рыбаки, рыбку ловим и поем, сидя у реки», в которой двое мирных рыбаков как-то очень ловко провели немцев и то ли организовали диверсию, то ли вывели какую-то военную тайну. Я с удовольствием напевала эти и другие заливчатские песенки, хотя по истечении времени они перестали мне нравиться. Но тогда их мелодии и сюжеты помогали меньше обращать внимание на постоянное чувство голода. Впитывала я и другую музыку: довоенные и новые песни о войне, классический репертуар, песни разных народов, исполняемые Ирмой Яунзем; кажется, и они тогда звучали. Конечно, запомнились и стихи Берггольц и Инбер. (Обидно, что о Вере Инбер в связи с блокадой теперь на радио как-то не вспоминают, будто не было ее поэмы «Пулковский меридиан»). Из собственно литературных передач запомнился рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни». Наверно, я слушала не с начала, потому что очень старалась не пропустить конец передачи, чтобы узнать название. Я очень горевала, что ослабевший ползущий человек не сумел поймать в лужице рыбку и хотя бы частично утолить такой понятный мне голод, жалко было его напрасных усилий. Но в то же время я и радовалась за рыбу, которой удалось ускользнуть в большой водоем, который нельзя было вычерпать ладонями. Специальных передач для детей, насколько мне помнится, в те месяцы не было (пусть простит мне любимое Ленинградское радио, если я ошиблась). А волшебный теплый голос Марии Григорьевны Петровой озвучивал «взрослые» передачи, но он сразу запомнился мне тогда, в 41-м, а в 45-м, когда мы вернулись в Ленинград, мне предстояло радостное узнавание этого голоса, ставшего символом нашего радио.



*Репродуктор.
1942*

Начало 1942 года

С началом 1942 года блокада повела себя, как зима: солнце на лето, она на мороз. То есть факторы «лютости» смягчались, а их вред нарастал. Больше стали нормы хлеба, других продуктов, больше солнечного света, больше уверенности в завтрашнем дне. Но меньше стало сил, и люди продолжали умирать от голода. Бомбежки и обстрелы казались если не пустяком, то уж, во всяком случае, менее страшным злом (ведь в тебя могло и не попасть!) по сравнению с вездесущим голодом, который не пропустил ни одной семьи, ни одного человека и подтачивал жизнь ежечасно, ежеминутно.

Мне вторая половина зимы 41/42 года запомнилась не так подробно, как первая, наверно, я просто стала тупеть от голода, да и жизнь стала монотонной. Но были и важные события. Нас навестил мамин брат дядя Шурик, воевавший на Ленинградском фронте. Его то ли отпустили на побывку, то ли уже совсем отозвали из армии, как специалиста. Я не помню, когда именно это было, но у нас уже была буржуйка, и папа был не в госпитале, значит, это было не раньше середины января. Перед тем как придти к нам, дядя побывал у себя на Благодатном переулке (теперь Благодатная улица); за год до войны он с семьей получил там отдельную квартиру в новом доме, что было

тогда большой редкостью. Квартира пустовала, так как в первые дни войны тетя Тамара с Эллочкой уехали с заводом в Свердловск. Дядя нашел там кое-какие остатки еды, ставшие теперь бесценными: высохшую четвертинку батона, пару замороженных яиц, аптечный пузырек протертой с сахаром черной смородины, которую тогда называли «витамин». Всё это плюс что-то из своего фронтового пайка он принес нам. Этот день надолго стал вехой для отсчета времени («это было через неделю после того, как пришел дядя Шурик и накормил нас досыта»). Хотя каждый про себя думал: «Ну, что досыта – это, конечно, из вежливости, это преувеличение, разве можно когда-нибудь наесться досыта!». В основном всё у нас было по-прежнему. Главное, что папа держался молодцом, хотя у него продолжали выпадать зубы, наверно, были и отеки, но на лице они были не очень заметны, а других частей тела друг друга мы не видели. Не помню, чтобы он жаловался. Но тут стала сдавать мама, у нее на почве голода начался мучительный понос, с которым она долго не могла справиться и очень ослабела. Я немного обморозила руки, а в остальном я была в порядке. Болеть я начну позже, в конце года, когда мы уже будем жить в деревне и лучше питаться (даже пить молоко!). У меня на лице и в носу появятся болячки, месяцами будет держаться температура, врачи определяют у меня бронхоаденит, который и потом, после войны, будет время от времени обостряться, и я буду пропускать в школе целые учебные четверти.

Про «кукушку»

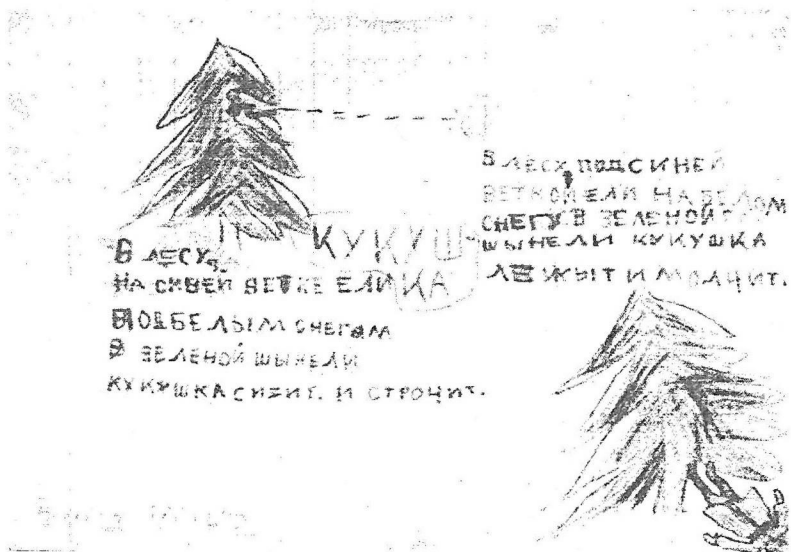
Но пока, зимой 41/42 г., я держалась и продолжала сочинять и рисовать. Наслушавшись по радио о коварстве фашистских снайперов-«кукушек», я вдохновилась на создание «диптиха» про сбитого снайпера (конечно, немецкого: ведь шинель у него была зеленая, а у наших бойцов, как известно, шинели, были серые).

1

В лесу, на синей веткой ели,
Под белым снегом, в зеленой шЫнели,
Кукушка сидит и строчит.

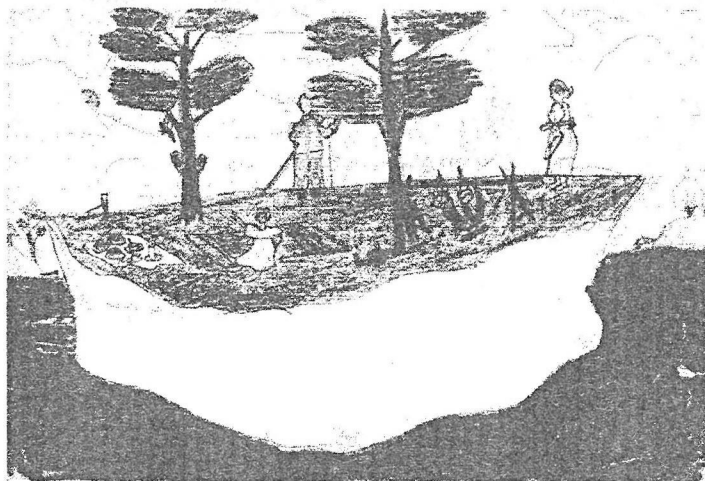
2

В лесу, под синей веткой ели
На белом снегу, в зеленой шЫнели
Кукушка лежЫт и молчит.



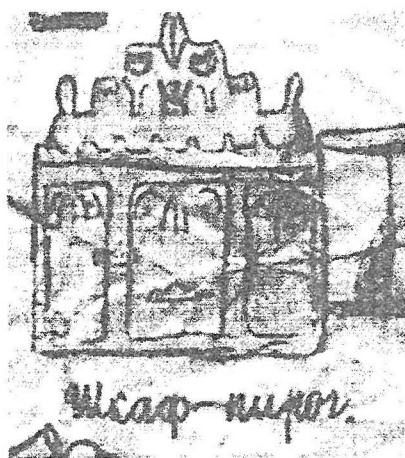
Кукушка – фашистский снайпер.
 Зима 41/42 г.

Но больше меня увлекали другие сюжеты – мечты о мирной жизни. Вот посреди синей воды стоит остров с обрывистыми берегами. К кольшку привязана лодка. На острове растут сосны, на одной из них сушатся туфли (две пары), поэтому я и мама босиком.



Она в своем парадном розовом платье, но в передничке, готовит у костра, папа в зеленом кителе ловит на удочку рыбу. Я в своем лучшем голубом платье сижу на расстеленном одеяле. Рядом на белой скатерти – три чашки с блюдами, сахарница, хлеб на тарелке. Под деревом – моя коричневая кукла Мери. Все предметы быта узнаваемы. Вот наши зеленые чашки от сервиза, наше красное шерстяное одеяло, над костром висят наш медный чайник и папин солдатский котелок-манерка. Просто не рисунок, а справочник по семейному быту Растворовых той поры. Вдали видны два деревенских дома и мостки возле одного из них. Заметно, что сначала был нарисован контур острова, а потом уже расставлены фигуры: нижний обрез папиных брюк и маминой юбки совмещен с верхним контуром острова.

Таких рисунков-«мечт» особенно много появилось позже, весной, когда наша семья на время перебралась в Лесной, к бабушке и маминным сестрам. Тогда мы стали рисовать вместе с Мирой. Все эти рисунки, чудом сохранившиеся вещественные свидетельства тех дней, теперь помогли мне вспомнить обстоятельства, в которых они появлялись на свет, они стали своеобразным путеводителем по моей памяти, раскрывая такие пласты её и такие закоулки, о которых я и не подозревала.



Весна 1942 г.

Когда морозы стали слабее, мы начали иногда выходить на улицу просто так, на прогулку. Об одной такой прогулке с папой по набережной я уже говорила. Бывало, что мы с мамой переходили на другую сторону проспекта Карла Маркса и бродили по короткому бульвару возле клуба Военно-медицинской академии. Там были два ряда подстриженных кустиков акации, до войны там стояли скамейки (выступы-каре в линии этих кустов сохранили память о тех скамейках), а вдоль стены здания росли липы. На снегу чернели плодики липы, каждый как нотка одна шестнадцатая: круглый орешек самой ноты, шейка-стебелек и хвостик-крылышко. Орешки были мелкие, в полсантиметра, но я не ленилась разгрызать их и вылавливать языком совсем уж крохотные ядрышки, они оказались приятными на вкус, с тех пор я ими и в «сытой» жизни не пренебрегаю. Мама сказала, что у липы и почки вкусные, но до веток нам было не дотянуться. Этими почками я буду лакомиться потом, когда мы уже уедем в Ленинградскую область, и мама, работая на лесоучастке, принесет мне букетик веток. В память о том вкусном и витаминном мамином секрете я весной при случае всегда срываю и съедаю несколько почек липы.

Вся зима, начиная с ноября, была без оттепелей, снега выпало много, и держался он очень долго. Но потом он все-таки стал подтаивать и местами превращаться в лед, который ослабевшим людям приходилось скалывать и убирать, потому что в нем скопилась вся грязь прошедшей зимы. Мы с мамой вместе с другими жильцами тоже вышли на эту работу. Нашей группе примерно из 15 женщин и детей достался кусок тротуара у нашего дома от угла Клинической и Саратовской улиц и до ворот, где я когда-то подобрала еловые ветки. Нам с мамой дали лом, который мы вдвоем сумели несколько раз приподнять и тукнуть им по грязному льду. Кажется, что-то откололось. Но силы быстро кончились, меня отправили домой.

В Лесном

Когда снег уже полностью сошел, мы перебрались в Лесной. Я большую часть дня находилась в небольшой солнечной комнате тети Лёли и Миры, там же я спала. Маленького брата Миры Эдика с нами почему-то не было, может быть, он спал у бабушки. Где ночевали папа и мама, я не помню, может быть, папа и не ночевал в Лесном. Самым запоминающимся предметом в комнате тети Лёли был большой умывальник с овальным зеркалом на мраморной задней стенке и мраморной же столешницей, в середине которой была фаянсовая раковина. Чтобы вода полилась из крана, её надо было предварительно

залить в какую-то емкость «за спиной» этого Мойдодыра. Окончив умывание, надо было открыть дверцы под столешницей, вынуть подставленное ведро, вынести его из квартиры и вылить воду в очко туалета-нужника, вход в который был на лестничной площадке, напротив входа в квартиру. Шахта этого пованивавшего заведения спускалась со второго на первый этаж.

Когда пригревало солнышко, мы, пятеро ребятишек, выползали в садик у дома и обследовали все прутики, ветки, прорастающие травинки. Старшей была Мира, но авторитетом по части съедобности-несъедобности считалась я, и все находки предъявлялись мне. Подобранные на земле черные плодики акации я, попробовав, отвергла, а почки, раскрывшиеся на невысоких кустиках, одобрила, они немного отдавали яблоком (как потом выяснилось, это были почки малины), и мы их съели.

Между деревянным забором садика и крыльцом дома была небольшая щель. Продолжая обследовать территорию, Ира заглянула и в эту щель, сё любопытная головенка легко проскользнула туда. Но назад голова не выходила: уши мешали! На наши вопли сверху сбежала бабушка с топором в руке. Увидев топор, Эдик отчаянно закричал: «Бабушка, не руби Ирке голову!» А бабушка, используя страшное орудие как рычаг, без особого труда отжала звено изгороди от крыльца, освободив испуганную девочку.

Позже мы стали собирать и приносить домой крапиву, щавель, а потом и появившуюся лебеду. Только дети могли собирать такие крошечные растеньища, взрослому их и углядеть труднее, и нагибаться тяжелее. Когда кто-нибудь, видя нашу стайку, спрашивал, не боимся ли мы, что нас съедят, вперед петушком выступал четырехлетний Эдик с игрушечным ружьем за плечом и произносил свою речь, которой привык смешить всех дома: «Я не калатетка, я не калатофка, я Эдик люди ивенный (я не котлетка, я не картошка, я Эдик, человек военный)». Наши маршруты все удлинялись, мы выходили на большой пустырь за домами, вдали за ним высилась водонапорная башня, окруженная соснами. Крапива и щавель шли на щи, а из лебеды, которая особо ценилась, бабушка делала лепешечки и раскладывала их прямо на горячей плите, где они и запекались. Их нам давали во время обеда. Близилось лето, и наш садик утонул в сирени. Помню, папа, показав мне душистую ветку, сказал, что не всякий год каждый цветочек, даже на самой верхушке соцветия, раскрывается так полно, как нынче; это потому, что весна долгая и лето прохладное. Рядом с домом, у колодца, где мы брали воду, стояла одинокая старая береза. Она была вне ограды нашего садика и поила своим соком всех, кому не

лень было просверлить дырочку в ее стволе. Березу буквально высосали, казалось, что она погибнет, но я видела ее живую и после войны, когда дом уже был разобран.

Когда мы поселились в Лесном, мама устроилась на работу бухгалтером в столовую где-то на Черной речке, туда можно было идти пешком через парк Лесотехнической академии, потом мимо станции Ланская минут за 40. В этой столовой уже несколько лет работала калькулятором тетя Надя. Непосредственного доступа к кухне и продуктам у тети не было, но как сотрудник столовой она имела право «прикрепить» там свои продуктовые карточки и карточки родных. Это позволяло полностью выкупать всё положенное по талонам, не стоять в очередях в магазине и не ловить день, когда продукты туда привезут, что было большим преимуществом. Тетя Надя выделялась среди других сестер. Все сестры были привлекательны, но Вера и особенно Лёля были миниатюрными, мама и Сима среднего (по меркам того поколения) ростом, а Надя выше среднего. У нее, в отличие от сестер, были крупные черты лица, особенно рот и круглые карие глаза. Она была немного похожа на цыганку и внешне, и какой-то веселой хитровой пронизательностью. Она, казалось, видела людей насквозь, чувствовала их характер и обладала даром предсказания. Потом, когда тетя Надя была с детьми в эвакуации, этот дар притягивал к ней местных женщин, которые шли к ней со скромными приношениями, чтобы узнать о судьбе своих фронтовиков. Похоже, они считали, что она не только нагадать, но и поворожить может. А уж сказки она умела сочинять и рассказывать нам так, что и Арине Родионовне не угнаться. Была она доброй, щедрой и притом безалаберной и немного неряшливой.

Мама, кажется, не официально оформилась на работу в ту столовую, а подрядилась временно, за небольшой паек помочь наладить и вести бухгалтерию. Когда-то, еще до революции мама (а вслед за ней — тетя Вера, дядя Шурик и тетя Надя) окончила знаменитое Коммерческое училище в Лесном. Это учебное заведение давало, кроме добротного среднего образования, бухгалтерскую подготовку и соответствующий документ. Иногда мы с Колей провожали маму и тетю Надю на работу, а потом весь день ждали их на берегу Черной речки, валяясь на траве, покрывавшей береговой откос. Изредка нам давали немного соевого молока или соевого шрота (его называли соевым творогом). От этой сои, или обилия поедаемой травы или от немых рук у меня сделался понос. А на откосах не было ни одного кустика, чтобы спрятаться!

Мы с Мирой по-прежнему любили своих кукол, Галю и Мери.

Из наших диалогов. Мира: «Ты продала бы свою Мери за килограмм сахара и килограмм масла?» Я: «Нет, конечно». Мира: «И я свою Галю не продала бы. А за пять килограммов сахара и пять килограммов масла?». Я: «Не знаю». Мира: «А я за пять килограммов продала бы, а потом бы за один килограмм купила обратно. А сахар перемешивала бы с маслом и ела, ела». Я: «А почему бы они тебе продали за один килограмм?». Мира: «Так ведь они не любят Галю так, как я».

Радости рисования

У окна комнаты, где мы с Мирой жили, был стол, на котором мы иногда чуть ли не целыми днями рисовали. У нас было много цветных карандашей (это неудивительно, в доме на Карла Маркса их всегда держали целыми россыпями: рисовали папа, Сима и я), но здесь почему-то было много еще и хорошей ватманской бумаги (как сказали бы теперь, формата А3), и никто не запрещал нам её тратить. На таком листе легко умещался разрез трехэтажного дома, где на чердаке висело белье, в подвале, разгороженном на отсеки для каждой квартиры, были сложены дрова, а в каждой из квартир детальнейшим образом были прорисованы мебель, печки, раковины, абажуры. Эти рисунки могли бы служить пособием для постановщиков фильмов о 30-40-х годах. Еще я варьировала в своих рисунках тему реки и острова с отдыхающими и купающимися людьми, а также рисовала большие группы детей на прогулке. Меня никогда не водили в детский сад (только месяца три я ходила в небольшую «немецкую» группу), и многолюдный мир детского сада казался мне недоступно-таинственным и привлекательным, поэтому хотелось изобразить свои представления о нем.

А потом мы с Мирой враз забросили свои громоздкие композиции, – появилось другое увлечение. Тетя Лёля, веселая и легкая, как птичка, легко и мимоходом, почти не присаживаясь, научила нас рисовать и вырезать бумажных куколок и отдельно – платья для них, которые крепились на плечах специально оставленными бумажными «хлястиками». Рисуя, она попутно, без всякой назидательности поясняла, какими должны быть пропорции на рисунке (расстояние между глазами – как глаз; лоб, нос и всё, что ниже носа – все три части примерно одинаковой высоты; ноги и всё, что ниже талии – вдвое длиннее, чем верхняя часть, и т. п.). Мы слушали Лёлю с раскрытыми ртами (до этого ни сестру, ни меня не учили «словами», как надо рисовать), и когда она, «одев» куклу в эстонский национальный костюм и назвав её Эльвирой, Эльви, бросила карандаш

и убежала по своим делам, наши рты еще не скоро закрылись. Мы тут же принялись за дело. Первых своих кукол мы сделали, скопировав образец (обведя по контуру Эльвиры), а потом сами навострились изображать миленькие личики и придумывать для кукол бесчисленные наряды. Наши целлулоидные Галя и Мери были забыты. Сама «Первозльвира» досталась мне. Она съездила со мной в эвакуацию, вернулась в 45-м в Ленинград и все это время служила предметом зависти для одноклассниц, а также матрицей, с помощью которой мне легко было их осчастливить. С возрастом Эльвира поистрепалась, была наклеена на картон, карандашные черты лица изменились, так как многократно подновлялись мною, но я всё так же любила ее, хранила и благодарно дивилась тогдашнему волшебству тети Лели.

Надо уезжать

Когда снова начали ходить трамваи (кажется, в мае), мы стали чаще бывать у себя на Карла Маркса. С домом за время нашего отсутствия ничего не случилось, выбитых стекол не прибавилось. Квартира прогрелась, можно было вернуться в большую комнату. Но мы все-таки больше времени проводили в Лесном.



Вскоре всем женщинам, имеющим детей, было предписано эвакуироваться. Из Райисполкома на мамино имя пришла бумага с печатью: «Гр-ке Соболевой З.Н., пр. К. Маркса 4, кв. 12 а. Районная Комиссия по эвакуации Выборгского района обязывает Вас вместе с Вашими детьми выехать из гор. Ленинграда на все время войны в порядке эвакуации населения. Для подготовки к отъезду Вам предоставляется 3 дня. Не позже этого срока Вам надлежит явиться в районную комиссию по эвакуации». Бумага была датирована 6 июня. Помню, что мы с мамой ходили в Эвакуационный пункт нашего района на Лесном проспекте. Это дальше, чем на Литовскую, но ближе, чем в «наш» Лесной. Там мы получили эвакуационное удостоверение № 5866 и посадочный талон на пароход (как потом выяснилось, это только называлось пароходом) на 10 июля 1942 г. Про эвакуацию папы в этих документах речь вообще не шла.

Но мы не расстраивались по поводу предстоящей разлуки, разлуки не будет. Дело в том, что одновременно с эвакуацией «сверху» разрабатывался и осуществлялся план нашего отъезда из Ленинграда «снизу». Обоим моим родителям представилась возможность вернуться к главной, лесной специальности. В этом помог наш сосед по квартире, в прошлом сослуживец папы и мамы Бонифаций Казимирович Ярмолович, возглавлявший в те дни экспедицию в Ефимовском районе. Оба мои родителя были зачислены инженерами-таксаторами в проектное учреждение – во Всесоюзную лесостроительную контору «Леспроект» (точнее, в ее Ленинградское отделение) Главного управления лесоохраны и лесонасаждений при Совнаркомом СССР. А «Леспроект» командировал их (инженера-таксатора Растворова Григория Григорьевича и инженера-таксатора Соболеву Зинаиду Николаевну) «в освобожденные от немецкой оккупации лесхозы Ленинградской области для производства работ по восстановлению лесного хозяйства. Основание: приказ № 15 по Главному управлению лесоохраны и лесонасаждения при СНК СССР от 24.01.42 г. отношение Глав. Упр. Л/б и Л/н при СНК СССР на имя Ленинградского Теруправления за № Г-18 от 4.05.42 г.». Привела эту длинную выписку из маминой командировки, чтобы подчеркнуть: министерский приказ на лесовосстановительные работы в освобожденных лесхозах Ленинградской области отдан за год до прорыва и за два года до полного снятия блокады Ленинграда! Вот какое значение придавалось лесу. Точно такая же, как у мамы, командировка была выписана и на папино имя, но эта бумага не сохранилась в семейном архиве – я в 1985 г. передала ее в Лесотехническую академию, выпускником которой папа был. Срок

командировок был указан с 1 июля по 1 октября 1942 г. Но мы вернемся не 1 октября 1942 г., а 15 октября 1945 г. В 42-м обратная дорога в Ленинград была едва ли возможной. Моим родителям пришлось из одной лесной организации (лесовосстановительной) перейти в другую (лесозаготовительную) в Хвойнинском районе Ленинградской области, а мне последовательно сменить за эти три года три сельских школы. Но для этого сначала надо было оказаться по другую сторону блокадного кольца.

По Дороге жизни

Итак, у нас на руках командировки. Вскоре к ним добавляются пропуска, выданные Управлением милиции Ленинграда. «Пропуск № 929. Разрешается гр. Соболевой Зинаиде Николаевне с детьми (от руки в отведенное на бланке место вписано: дочь Ольга 1933 г. рождения) проезд от гор. Ленинграда до гор. Тихвина и обратно. Цель поездки – командировка». Такой же пропуск был и у папы, № 928. Срок действия пропусков был с 3 по 14 июля. Выбыли мы из Ленинграда, согласно штампу на командировке, 11 июля. Но и без штампа эта дата мне запомнилась, потому что 11 июля – день моего рождения, и в этот день мы были еще в городе. А поздно вечером мы отправились на Финляндский вокзал, погрузились в вагоны, не пригородного сообщения, а «настоящие», с верхними полками. В вагоне мы были чуть ли не единственными пассажирами. Поезд очень долго стоял, потом медленно шел, снова стоял, кажется, мы пересеживались в другой состав. В общем, почти вся ночь ушла на то, чтобы проехать чуть больше 40 км и добраться до берега Ладожского озера. Наверно, людей специально возили ночью, чтобы составы меньше бомбили. Правда, в июле и ночью не темно. У нас было много вещей, больше, чем у тех, кто просто эвакуировался, потому что мы везли и какое-то экспедиционное снаряжение.



*На Большой земле. Воспоминание о станции Лаерво.
Август-сентябрь 1942.*

Возле пристани было много народа, в основном женщины и дети. Всех сажали человек по 30 или больше на так называемые тендеры – небольшие сваренные из железных листов суденышки, которые подходили, грузились и отчаливали одно за другим. По форме тендеры больше всего напоминали кораблики, которые папа учил меня складывать из бумаги – такие же угловатые, с такой же открытой «дыркой» посередине; корма и нос не различалась. Наша очередь подвигалась медленно, прибыв на пристань ранним утром, на тендере мы оказались только днем. Нам удалось остаться на палубе, на открытом воздухе. Внизу, в трюме, все сидели прямо на полу, тесно прижавшись друг к другу. Там же лежали вещи, я разглядела и наши тюки, обшитые знакомыми занавесками. По-моему, все люди старались сесть поближе к бортам, чтобы оказаться как бы под навесом. Над серединой трюма никакой крыши не было. Небо было ясным, и это было плохо – погода подходящая для немецких самолетов. Дул довольно сильный ветер. На открытой палубе было холодно, хотя на нас была, несмотря на июль, зимняя одежда. Но нам было лучше, чем тем, внизу, потому что скоро началась сильная качка, которая на ветру легче переносилась, а в трюме многим стало плохо. Брызги волн стали перелетать через борт, люди сидели, как под дождем. Наши вещи сильно намокли, мы потом нескоро сумели

просушить их, только приехав на постоянное место жительства; многое испортилось. Ширина той части Ладожского озера (его левой «штанины»), которую мы пересекали, чуть более 30 км, но когда наше судно было на ее середине, оба берега скрылись из вида, будто мы находились в настоящем море! Видны были только другие тендеры впереди и позади нас. Когда уже показался противоположный берег, далеко впереди поднялись фонтаны воды от разрывов. Ветер и брызги волн мешали рассмотреть, что происходило впереди. Но мне показалось, что число судов, идущих перед нами, уменьшилось. Наше плавание продолжалось, как мне показалось, часа два.

Я помню тот июль сорок второго.
Нам предстоит нелегкая дорога.
Мы отбываем – не в эвакуацию –
На утлом катерке по грозной Ладоге.
Нет, наш поход иначе будет зваться:
Командировка. Вспыхивают радуги
В фонтанах рассекаемой волны,
И мы надеждой радостной полны,
Что не про нас бомбежки и обстрелы,
Что будем невредимы мы и целы.
Всё вышло так. Хранил нас, видно, Бог
И до Большой земли доплыть помог.

Наш тендер благополучно прибыл на пристань Лаврово. Мы были на Большой земле.

Жди нас, Ленинград! Мы вернемся!

Сестрорецк. Январь 2005 г.

Содержание

Оказалось, что всё это я помню (вместо предисловия).....	3
В этой истории ничего не выдумано.....	4
Дача в Тайцах.....	4
Возвращение в город. Пути и судьбы родных.....	7
Наши первые недели войны.....	9
Город в начале войны.....	12
Мама и штаб ПВО.....	18
Когда кольцо замкнулось.....	21
Наш обычный день в ноябре-декабре 1941 г.....	27
Николин день.....	35
... Да несчастье помогло.....	37
Новый год.....	39
Радио.....	40
Начало 1942 года.....	43
Про «кукушку».....	44
Весна 1942 г.....	47
В Лесном.....	47
Радости рисования.....	50
Надо уезжать.....	51
По Дороге жизни.....	53

